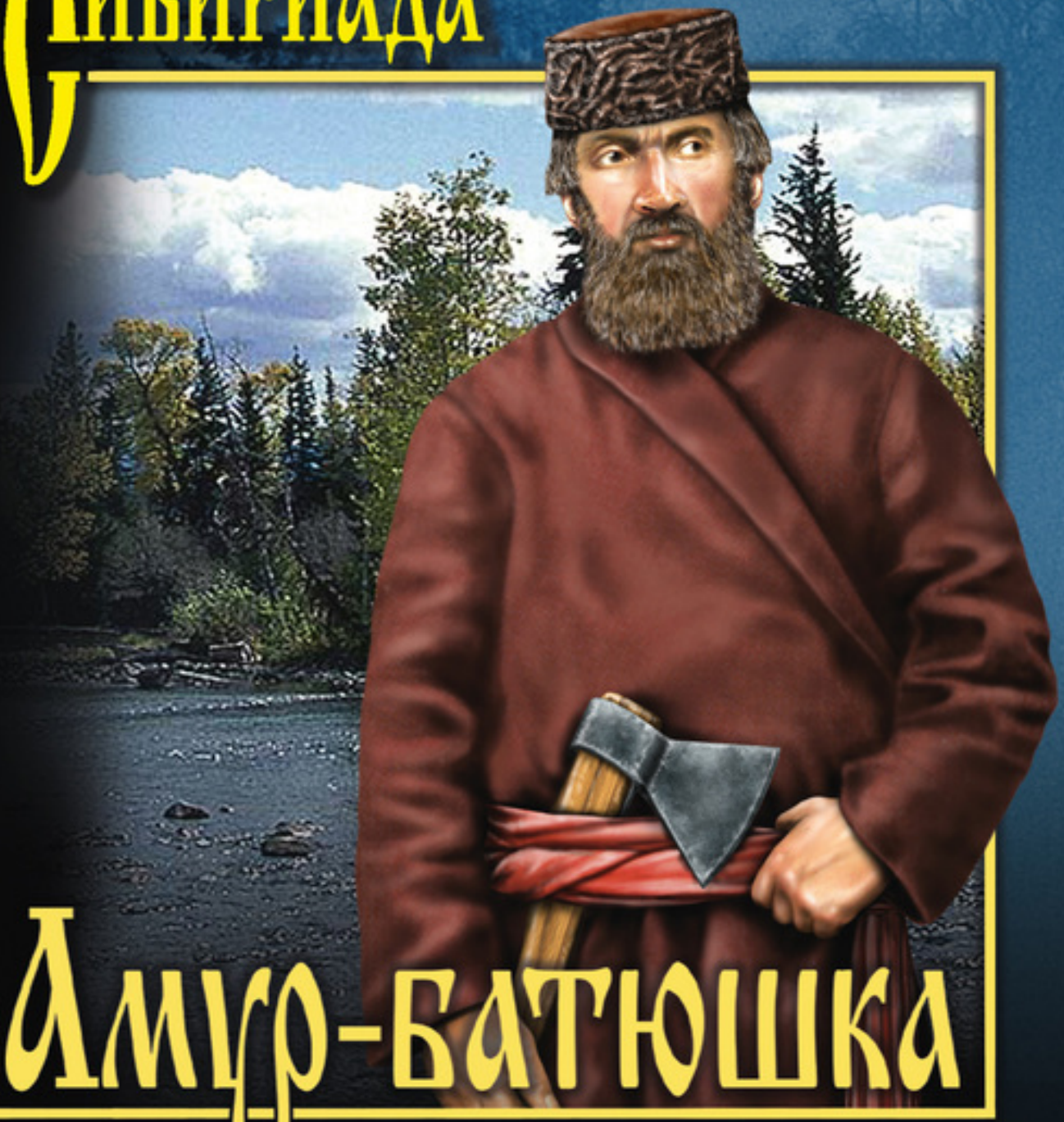
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

Сибириада



Амур-батюшка

Сибириада

Николай Задорнов

Амур-батюшка

«ВЕЧЕ»
1946

Задорнов Н. П.

Амур-батюшка / Н. П. Задорнов — «ВЕЧЕ», 1946 — (Сибириада)

Николай Павлович Задорнов (1909–1992) – известный русский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1969). Его перу принадлежат два больших цикла произведений об освоении Сибири и Дальнего Востока русскими первопроходцами в XIX веке.Роман «Амур-батюшка» рассказывает о прошлом Приамурья, о тяжелых условиях жизни крестьян-переселенцев в 60–70-е годы XIX века, об освоении ими дикой природы края и, конечно, о дружбе с местными народами, без которой невозможно было бы выжить на новом месте.В 1952 году роман был отмечен Государственной премией СССР.

© Задорнов Н. П., 1946
© ВЕЧЕ, 1946

Содержание

Книга первая 6
Глава первая 6
Глава вторая 9
Глава третья 12
Глава четвертая 15
Глава пятая 21
Глава шестая 25
Глава седьмая 31
Глава восьмая 36
Глава девятая 42
Глава десятая 48
Глава одиннадцатая 51
Глава двенадцатая 55
Глава тринадцатая 61
Глава четырнадцатая 66
Глава пятнадцатая 71
Глава шестнадцатая 78
Глава семнадцатая 86
Глава восемнадцатая 94
Глава девятнадцатая 102
Глава двадцатая 107
Конец ознакомительного фрагмента. 111

Николай Задорнов
Амур-батюшка

© Задорнов Н.П., наследники, 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016

* * *

Книга первая

Глава первая

От сибирских переходцев Егор Кузнецов давно наслышался о вольной сибирской жизни. Всегда, сколько он себя ни помнил, через Урал на Каму выходили бродяжки. Это был народ, измученный долгими скитаниями, оборванный и на вид звероватый, но с мужиками тихий и даже покорный.

В былое время, когда бродяжки были редки, отец Егора в ненастные ночи, случалось, пускал их в избу.

– Ох, Кондрат, Кондрат, – дивились на него соседи, – как ты не боишься? Люди они неведомые, далеко ли до греха…

– Бог милостив, – отвечал всегда Кондрат, – хлеб-соль не попустит согрешить.

Бродяжки рассказывали гостеприимным хозяевам, как в Сибири живут крестьяне, какие там угодья, земли, богатые рыбой реки, сколько зверей водится в дремучих сибирских лесах. Среди бродяг попадались бойкие рассказчики, говорившие как по книгам. Наговаривали они и быль и небылицы, и хорошее и плохое. Все же по рассказам их выходило, что хоть сами они и ушли почему-то из Сибири, но сторона там богатая, земли много, а жить на ней некому.

Да и не одни бродяжки толковали о матушке-Сибири. Сельцо, где жили Кузнецовы, расположено было на самом берегу Камы, а по ней в те времена шел путь в Сибирь. Егор с детских лет привык жить новостями о Сибири, любил послушать проезжих сибиряков и всегда любопытствовал, что туда везут на баржах или по льду, что оттуда, какова там жизнь, каковы люди. Мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь и самому убежать в Сибирь, еще смолоду укоренилась в голове Егора. На то, чтобы уйти с родины, были и у него разные причины. Но до поры желание это было как бы спрятано где-то в потайной кладовой про запас; и лишь когда у Егора случались неудачи или нелады с односельчанами, он извлекал его из тайника и утешался тем, что когда-нибудь оставит здешнюю незадачливую жизнь, соберется с духом, перевалит в Сибирь и станет жить там по-своему, а не как укажут люди.

И женился Егор на свободной сибирячке. Неподалеку от сельца были заводы. Крестьяне ходили туда на работы. Егору тоже доводилось жить на куренях[1], на углесидных кучах[2] и работать на сплавах. Одну зиму пришлось ему прожить на соседнем заводе. Там встретил он славную, красивую девушку, дочь извежога, присланного на завод с азиатской стороны Урала. Егор и Наталья полюбили друг друга. На другой год Егор уломал отца заслать сватов, и в промежговенье, перед Великим постом, свадьбу сыграли.

Между тем за последние годы движение в Сибирь оживилось. Началось это еще до манифеста[3], после того как в народе прошел слух, что открыли реку Амур[4], которая течет богатым краем, что там хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а населения нет и что туда скоро станут вызывать народ на жительство.

– Сперва-то вызовут охотников, а не сыщется охотников, пошлют невольников, – говорил по этому поводу дед Кондрат.

---

[1] Курень (от куриться) – место выжига в лесу угля.

[2] Углесидная куча – место выжига древесного угля для железоделательных заводов на Урале.

[3] …до манифеста – имеется в виду манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права.

[4] …открыли реку Амур – речь идет об открытии экспедицией Г.И. Невельского в 1849 г. устья Амура, о последовавшем вслед за этим начале судоходства на Амуре и заселении Приамурья переселенцами.

Старик с годами стал сдавать, хотя мог еще целый день промолотить в мороз без шапки, но уж головой в доме стал Егор.

После манифеста в Сибирь повалило множество народу, туда повезли пушки, товары и машины, гнали солдат и арестантов, ехали купцы, попы, чиновники, выкочевывали вольные переселенцы и переселенцы по жребию, скакали курьеры.

Вскоре в народе, как и предсказывал дед, стали выкликать охотников заселять новые земли на Амуре. По деревням ездили чиновники и объясняли крестьянам, что тем, кто пойдет туда, переселенцам, предоставляются льготы. С них снимали все старые недоимки, а на новых местах наделяли землей, кто сколько сможет обработать, обещали не брать налогов и освобождали всех их вместе с детьми от рекрутской повинности.

На старом месте жить Егору становилось тесно и трудно. Жизнь менялась, село разрослось, народу стало больше, а земли не хватало. Торгашество разъедало мужиков. Кабаки вырастали по камским селам, как грибы после дождя. У богатых зимами стояли полные амбары хлеба, а беднота протаптывала в снегах черные тропы, бегая с лукошками по соседям.

Егор год от году все больше не ладил с деревенскими воротилами, забиравшими малопомалу в свои руки все село. За поперечный нрав богатеи давно собирались постегать его. Однажды в воскресенье у мирской избы шло «ученье»: миром драли крестьян за разные провинности. В те времена так случалось, что ни в чем не повинного человека секли время от времени лозами перед всем народом единственно для того, чтобы и ему было неповадно, чтобы и его уравнять со всем драным и передранным деревенским людом. Обычай этот долго не переводился на Руси.

Егор шел мимо мирской избы. Он был малый крепкий и крутой, но мужики по наущению стариков богатеев к нему все же подступили: им было не в диковину, что ребята и поздоровей его ложились на брюхо и задирали рубаху. Как только один из мужиков, не глядя Егору в глаза, сказал, что велят старики, Кузнецов весь затрясся, лицо его перекосилось. Сжав кулаки, он кинулся на мужиков и прикрикнул на них так, что они отступились, и уж никто более не трогал его с тех пор.

Кузнецовы, так же как и все жители сельца, были до манифеста государственными крестьянами[5]. Помещика они и раньше не знали и жили посвободней крепостных. Егор всегда отличал себя от подневольных помещичьих крестьян и гордился этим. К тому же он был еще молод, дерзок на язык и крепок на руку и при случае мог постоять за себя.

Если бы деревенским воротилам удалось его унизить, отстегать на людях, они, пожалуй, и перестали бы сердиться на него и дали бы ему от общества кой-какие поблажки. Но Егор в обиду себя не давал, и они держали его в строгости. Он многое терпел за свою непокорность.

Егор жил небогато. Да и не мог он разбогатеть. Он работал в своем хозяйстве прилежно, но особенного интереса, пристрастия к этой работе не чувствовал. Жадностью и корыстью он не отличался. Жизнь его кругом стесняла, и его силе негде было разгуляться.

– Ты, Егор Кондратьич, с прохладцей живешь, – как-то раз сказал ему сельский учитель.

– Это жизнь какая! – отвечал Егор. – Она набок идет, никак не уживусь с кулаками, будь они неладны!

– Тебе надо в Сибирь выселяться!

– Пошто же это мне тут-то не жить? – насторожился было Егор, не зная, как понять такую речь.

– Ты бы там горы своротил, а тут они тебе не дают дороги. Вся твоя сила тут прокиснет. А там жизнь вольнее.

---

[5] Государственные крестьяне – особое сословие крепостной России, оформленное указами Петра I из оставшегося незакрепощенным сельского населения. Эти крестьяне жили на казенных землях, вносили в казну оброк, подати и отбывали натуральные повинности. Считались лично свободными.

Егор ничего не ответил, но слова эти запомнил. Он и сам полагал, что не весь свет населен вредными людьми и что где-нибудь да живет ладный народ. Такой страной представлялась ему Сибирь.

Когда стали выкликать охотников на Амур, дело решилось само собой, словно Кузнецовы только этого и ждали. К тому же не за горами было время, когда по рекрутской очереди младшему брату Егора, Федюшке, предстояло идти в солдаты. На Амуре же никакой рекрутчины не было.

Семейство Егора к тому времени состояло из отца, матери, брата Федюшки и жены Натальи с тремя детьми: Петькой, Васькой и девчонкой Настей. Наталья тоже желала избавить в будущем своих сыновей от солдатчины и стояла за переселение. Бабка Дарья, еще моложавая и бойкая женщина, поддалась уговорам сына быстрей старика. Она хорошо понимала своего Егора, и если сначала не соглашалась переселяться, то делала это не от души, а более для того, чтобы испытать, не отступится ли сын от своего замысла. Егор стоял крепко на своем, и мать согласилась. С трудом уломали деда Кондрата.

Егор записался в переселенцы.

Семья оживилась и стала дружно собираться в далекий путь. Тут-то и оказалось, что у Егора уже многое обдумано и многое заранее подготовлено для дороги, а когда он обо всем этом думал, он и сам не мог бы сказать.

Осенью Кузнецовы сняли урожай, намололи муки на дорогу, набрали семян из дожиночных колосьев, с тем чтобы посеять их на заветном амурском клине, справили лошаденкам сбрую, продали избу, скот и хозяйство, расплатились с долгами.

Отслужили напутственный молебен, бабы поплакали-поревели, и в добрый час, простившись с родной деревней, Кузнецовы двинулись в далекий путь.

Глава вторая

В Перми из уральских переселенцев, съехавшихся туда из разных деревень, была составлена партия. Назначили партионного старосту, и вскоре крестьяне двинулись Сибирским трактом за Урал.

Великий путь от Камы в Забайкалье шли они около двух лет. Первоначально высшие чиновники, распоряжавшиеся переселенцами, рассчитывали, что они смогут передвигаться зимами и быстро достигнуть Читы, откуда должно было начаться их плавание по рекам. Но в сибирские морозы ехать с семьями по степям и тайге оказалось невозможным, и крестьяне останавливались в богатых деревнях, нанимались к сибирякам в работники.

Эх, Сибирь, Сибирь!.. Еще и теперь, как вспомнят старики свое переселение, есть им о чем порассказать… Велик путь сибирский – столбовая дорога. Пошагаешь по ней, покуда достигнешь синих гор байкальских, насмотришься людского горя, наготы и босоты, и привольной жизни на богатых заимках, и степных просторов, и диких темных лесов. Попотчует тебя кто чем может: кто – тумаком по шее, а пьяный встречный озорник из томских ямщиков – бичом, богатый чалдон – сибирскими пельменями, подадут тебе под окном пшеничный калач и лепешки с черемухой. Приласкают и посмеются над тобой, натерпишься ты холоду и голоду, поплачешь под березой над свежим могильным холмом, поваляешься на телеге в разных болезнях, припалит тебя сибирским морозцем, польет дождем, посушит ветром. Увидишь ты и каторгу, и волю, и горе, и радость, и простой народ, и господ в кандалах, этапных чиновников, скупых казначеев. А более всего наглядишься кривды, и много мимо тебя пройдет разных людей – и плохих и хороших.

Под Томском у кулаков-«гужеедов» переселенцы покупали знаменитых сибирских коней. Хороши томские лошади: высоки, могучи, грудасты, идут шагом, а телега бежит. Старых, изъезженных, избитых коняг продавали лошадникам. На томских поехали живей. Осенью на Енисее, у перевозов, во время шуги скопилось много переселенцев. Начались болезни – народ мер повально. Приезжали доктора, чиновники, полиция. Переселенцев остановили на зимовку. Впоследствии енисейских старожилов за то, что они помогали переселенцам хоронить умерших, прозвали «гробовозами».

За Енисеем стала стеной великая тайга. Как вступили в нее переселенцы, так уж во всю жизнь не видали ей конца, сколько бы ни ходили. Велика эта тайга. Зайди-ка в нее, в самую чащу, сядь в сырые мхи да одумайся, где ты, и что за лес вокруг тебя, и что ты такое против всего этого. И такая тебя возьмет лихота, что и не рад станешь. Уж лучше ехать и не думать. Такова-то сибирская матушка-тайга.

На исходе второй зимы, когда уже начались оттепели и морской лед трещал так же гулко, как гремит гром в июльскую грозу, переселенцы, перевалив по льду Байкал, вступили в забайкальские горы. Грозно, как облака, уходили они вдаль голубыми снежными «белками». Новая страна – великая, дикая, неведомая – стояла перед толпой оборванных, усталых крестьян.

Начались деревни староверческие, улусы некрещеных и деревни крещеных бурят, казачьи заимки и богатые крестьянские села, растянувшиеся в узкую улицу на долгие версты по тесным и хмурым горным долинам.

Снег стаял, зацвел бледно-розовый багульник, в тайге посвистывали бурундуки. Наступила забайкальская весна. Но переселенцам не радоваться хотелось, а плакать безудержно и безутешно. Больно вспоминались свои покинутые пашни и родная весна, совсем непохожая на здешнюю. Тут дикие камни, обросшие мхами и лишайниками, каменистые крутогоры с высочайшими «ветродуйными» рогатыми кедрачами, холодный ветер и казавшиеся хитрыми темнолицые люди. А по долинам и по дорогам – пески и сосны. Повсюду стада скота. Кое-где – пашни.

Жизнь тут была какая-то чужая, непохожая на сибирскую даже. Русские люди лицами походили более на азиатцев. Суровые, скрытные и неразговорчивые, они жили в неприветливых домах. Их избы сложены были из толстейших бревен, тяжелые ставни запирались железными болтами. Обнесенные высокими бревенчатыми частоколами или городьбой из жердей, их заимки выглядели казенными укреплениями, а не крестьянскими домами.

По-российски гостеприимные и разговорчивые ссыльнопоселенцы, которых на родине мужики боялись бы, как бывших каторжников, тут были для переселенцев самыми желанными людьми. Они жили вперемежку с коренными сибиряками и называли их гуранами – дикими козлами. Старожилы сами называли себя так в насмешку над своей дикой жизнью.

С русскими дружили и кумовались буряты. Этих скуластых, внешне как бы безразличных ко всему наездников, вихрем носившихся по горным долинам на своих низкорослых гнедых лошаденках, переселенцы встречали повсюду.

Крещеных бурят русские называли «братскими».

Отдельным племенем жили красивые, рослые и светловолосые староверы. Здесь их называли «семейскими».

У людей этих: у казаков, братских, семейских и ссыльнопоселенцев – были разные обычаи и свое особенное хозяйство, отличное от соседей по устройству и по способам его ведения, хотя и много общего было у всех. Много чего присмотрели переселенцы по дороге такого, что впоследствии должно было, как они полагали, пригодиться им на новоселье.

В конце мая партия прибыла в Читу. Там уже скопилось к тому времени большое количество переселенцев, направлявшихся на Амур и на Уссури. Это были крестьяне Орловской, Тамбовской, Пермской, Вятской и Воронежской губерний. Часть их шла на переселение по доброй воле, часть – по жребию. Были тут и сектанты, и раскольники, и разный другой люд, почему-то не ужившийся на старых местах и стремившийся забраться подальше в тайгу в поисках плодородных земель и вольной жизни.

Под Читой, на Хитром острове, раскинулось огромное плотбище. С верховьев Читинки и Ингоды каторжные читинской колонии сплавляли лес, а переселенцы, объединившись по две-три семьи, строили себе паромы.

Егор сговорился ладить плот с камским земляком Федором Барабановым, с которым шел всю долгую дорогу. Мельком знал он Федора на старых местах. Барабановы жили в одной из соседних деревень на Каме. Федор был в семье пятым сыном и ушел в Сибирь потому, что не ладил с братьями. Он знал, что от отца после раздела много не получит, а на малом не мирился. Был он мужик хитроватый, «рисковый» и по-своему смелый. Он не побоялся пойти на Амур, втайне намеревался разбогатеть там во что бы то ни стало, но всю дорогу охал, жаловался на свою судьбу и всего опасался: чиновников, докторов, бродяг, конокрадов, разбойников, холодов, болезней, голода, плохих дорог, но, несмотря на свои страхи, всегда лез на рожон первым. Был он порядочный «торгован», как называли его переселенцы, и всю дорогу барышничал, не без выгоды сменяв шесть штук лошадей на пути от Томска до Читы.

Егор и Федор как бы дополняли друг друга. Егор был крепче и тверже Федора, а тот был похитрей и на язык ловчее и мог из всякого затруднения придумать выход. Так, пособляя друг другу, мужики благополучно осилили многие помехи и печали.

Жена Барабанова, низкорослая силачка Агафья, выносливая и терпеливая, была во всех делах советчицей и помощницей своего мужа, но нередко и помыкала им, если он плоховал. Агафья бралась за любую мужскую работу и делала ее не хуже мужиков. На Ингоде на плотбище, ворочая бревна, она немного отставала от Егора, а Федора, случалось, и опережала.

Плоты, или паромы, строили по-сибирски, укладывая широкие плахи на длинные – «арты» – долбленые толстые кедровые стволы. Переселенцам присылали на помощь солдат и каторжников, чтобы долбить «арты» и плотить.

В начале июня суда были готовы и нагружены. Переселенцы двинулись вниз со вторым сплавом. Первый ушел еще в мае следом за льдами.

Поплыли скалистые берега сначала Ингоды, потом Шилки, мрачные теснины, хвойные леса. До Усть-Стрелки миновали семь маленьких почтовых станций – «семь смертных грехов».

«Экая тоска, экая скучища на этой Шилке зимой!» – подумал Егор, услыхав такое прозвище здешних станций.

На вторую неделю пути выплыли на Амур. За Усть-Стрелкой солдаты-сплавщики, направлявшиеся в Хабаровку, указали китайскую землю. Разницы не было: и тут и там все было одинаково, она ничем не отличалась от своей. По реке шло движение, как на большой дороге. Сплавлялись вниз купеческие баркасы, баржи с солдатами, с казенными грузами и со скотом; на плотах плыли казаки из Забайкалья и везли целиком свои старые бревенчатые избы; попадались китайские парусные сампунки[6], полные товаров.

Ближе к Благовещенску стали проплывать пароходы. На возвышенностях – релках – виднелись распаханные и засеянные казаками земли. На правом вперемежку с «таежками», как назывались тут перелески, попадались китайские деревни.

Немало было разговоров про китайцев. Егор ходил в деревню смотреть, как они живут. В душе немало удивился тому, что увидел: уж очень аккуратны были китайские пашни, хоть и малы; и все росло – овощи, хлеб. Кругом тайга и луга. Деревня обведена стеной из самана.

На устье Зеи, в Благовещенске, переселенцы получили «порционы»: сухари, соль, побывали на многолюдном базаре и в солдатской церквушке подле строящегося собора.

Перед крестьянами открывалась еще одна новая страна. Тайга, чем ниже спускались по реке, становилась веселей, кудрявились орешники, радовали глаз дубняки, липовые рощи; на лугах росли сочные буйные травы, а на зеленых косогорах, и на русской и на китайской сторонах реки, цвели красные и желтые саранки и пушистые белые марьины коренья. Маньчжуры подплывали к каравану на лодках, торговали овощами и дичью, несли какую-то тарабарщину, хватали русские монеты, но кредиток не брали.

– Эх, взяли меня, как с гнезда, и унесли!.. Чего только я тут не нагляжусь! – невесело и растерянно говорил дед Кондрат, проплывая расположенный неподалеку от Благовещенска маньчжурский городок с бойким базаром на берегу, с мачтовыми лодками у пристани, с золочеными крышами кумирни и с глинобитной крепостью.

Вскоре китайские деревни исчезли. На обеих сторонах реки стояла сплошная грозная тайга, и с каждым днем все выше вздымались скалы. Кое-где в распадках приютились казачьи посты – несколько свежерубленых избенок – да огороды. Амур, зажатый в каменной теснине, шел местами как между стен. Река зашумела, повлекла плоты быстрей.

[6] Сампунка – китайское речное судно с соломенным парусом.

Глава третья

В Благовещенске вместо солдат-сплавщиков на паромы заступили лоцманы-казаки из недавно переселенных на Амур забайкальцев. С этими плыть стало веселей. Они все тут знали и обо всем охотно рассказывали.

– Мои деды на этом Амуре жили, – рассказывал низкорослый кривоногий казак Маркел. – Я-то родился на Шилке, в станице Усть-Стрелка, но род-то от старых жителей. Ведь в прежнее время тут русских много жило. Этой реке и название – Амур-батюшка. Волга – Русь-матушка, а Амур-то – батюшка! Были тут и городки, и заимки. Пашни пахали. А потом с маньчжуром сражались, и руцкие ушли – земля заглохла, стала Азия и Азия. А нынче вот опять топоры застучали. Лес валят, корчуют. Красота!..

– Почему же деды-то уходили с Амура? – спросил Егор.

Маркел не сразу ответил. У него было что рассказать российским переселенцам, и поэтому он не торопился. Казак оглядел мужиков и начал тонким голоском:

– Это было давно. Моего деда дед ли, прадед ли тут жил. Тут было всего: и хлеба росли, и люди жили. Китаец тогда за стеной жил. У них коренное государство, ну, вроде Расея ихняя, стеной отгорожена, и начальство строго следило, чтобы за ворота никто не выселялся. А китайцы, конечно, не слушают. Это я знаю, потому сам сидел в Китае в плену и стену видел. Здоровая такая стена, вот с эту кручу, – кивнул Маркел на каменный обрыв, быстро проплывающий над плотами. – Проложена прямо по сопочкам, по степи, где придется. Но вот, – Маркел кивнул на правую сторону. – В те поры – это давно было – Миколай Миколаич Муравьев говорил: двести лет тому назад маньчжурец пошел на Русь. Аж до Амура достиг! Выше Благовещенска был большой город Албазин. Отец-то все нам показывал дедушкину пашню – водил на Амур, когда мы в Забайкалье жили. А уж какая пашня! На ней в два обхвата березы выросли. Когда я с отцом ходил, он показывал те места, где был Албазин. А потом отец помер, а у меня знакомых стало много на Амуре из орочон[7]. Я сам часто сюда ездил, ружья возил и охотился, так уж хорошо это место запомнил, где Албазин стоял. А теперь и на тех пашнях тайга, а где так гарь или который лес ветром повалило. А когда-то стоял город, хлеб рос, был скот разведен. Люди жили мирно. Маньчжур и давай воевать. Обложил Албазин. Сперва не мог взять. Но нам помощи нет настоящей – от Москвы-то, говорят, мол, как ее подашь, далеко, мол, через хребты дорога. Стали сдавать крепость, велели народу выйти в Забайкалье, замириться. Обида, конечно… Говорят, шибко плакали старики. Албазинскую-то божью матерь слыхали? – вдруг с живостью спросил Маркел. – Чудотворную-то икону?

– Казанскую, что ли? – переспросил Федор.

– Какой Казанскую! – с пренебрежением ответил казак. – В Албазине была чудотворная Албазинская. У нас известно. Икону старики на руках вынесли.

Маркешка рассказывал, какая разница между китайцами и маньчжурами и как их различать.

– Как же Амур-то обратно взяли? – спросил Федор.

– Мы как сюда пришли с Муравьевым – и из ружья ни разу не выстрелили. Тогда уж все мирно обошлось. Геннадий-то Иванович Невельской на корабле зашел с моря и устье реки занял. А Муравьев был губернатор в Иркутске, собой рыжеватенький такой, верткий, как хорек, но с солдатами обходительный. Я уж потом сколько раз с ним встречался. Всегда за ручку здоровался. Это уж обязательно! В пятьдесят четвертом году он в первый раз спустился с нами с Забайкалья на судах и проплыл скрозь весь Амур. Мы имя руководствовали, фар-

[7] Орочоны (от эвенкийск. «орон» – олень) – дореволюционное название ряда групп оленных эвенков, живших к востоку от озера Байкал.

вахтер показывали. Кто не потрафлял ему – таку вздрючку давал, бывало, горячих всыплют. Проплыли мы, и с тех пор Расея сюда двинулась. Теперь народ так и льется, как вода. Китайцы не хотели сначала Муравьева пускать, а потом рассудили, что, мол, соседи, жить, говорят, надо мирно, и не стали препятствовать. Старый договор порвали, написали новый. Миколай Миколаич Муравьев подписал, китайцы кистями расписались, выпили хорошенько. И китайцы довольны, а то они боялись, что англичане в Амур зайдут. Так нам Муравьев Миколай Миколаич сказывал; мы ведь и потом у него были лоцманами. Как раз в тот год, как он договор подписывал в Айгуне, я тоже был на сплаве, лоцманил. Он говорил, будто для китайцев старался.

– Ну ладно, а как же тогда ты в плен попал к китайцам, если с китайцами дружно жили?

– Ну, это дело мое! – недовольно ответил Маркешка и, немного помолчав, добавил: – Это было давно.

Другой сплавщик, пожилой, безбородый и желтолицый, Иннокентий, или, как его все звали, Кешка, засмеялся:

– Маркел ходил охотиться на Амур. Его поймали. Год держали в яме, а потом через весь Китай и всю Монголию вывезли в клетке на верблюде и в Кяхте выдали.

Маркел угрюмо молчал.

– Он зимой ходил на дедушкину землю охотиться на белок и соболей да напоролся на льду на китайского генерала, на начальника Айгуна.

Такое объяснение понятно мужикам; русский генерал или китайский могли при случае поступить, конечно, как им вздумается: нашел, видимо, в чем-то нарушение.

– Маркешка оружейник хороший. Ружья сам умеет делать, – продолжал Иннокентий. – Прежде на Амуре русские ружья знали. Он ездил, менял…

– Ведь ружья занятие доходное? – удивился Федор, обращаясь к лоцману. – Дула-то где брал? На новом-то месте ружья нужны!

– Я просил у начальства позволения открыть оружейный завод в Благовещенске, – отвечал Маркешка.

– Ну и что же?

– Капитала нет! Сказали: «И не суйся». Еще, говорят, не хватало, чтобы забайкальцы стали свои системы придумывать! Однако, твари, ружье мое не отдали, и видать было, что понравилось. Сказали, в Николаевске есть оружейная при арсенале, чинят там старые кремневки, фитильные, штуцера – всякую такую чертовщину, туда, мол, нанимайся. А на черта мне это дело сдалось?

Егор с большим любопытством приглядывался к Маркешке. Бледный и смирный казак этот, как видно, был выдумщиком и смельчаком.

– Он ведь из Хабаровых! – продолжал на соседнем плоту Иннокентий. – Ерофей-то Хабаров в древнее время был богатырь, голова на Амуре. Албазин-то который построил. Хабаров, паря, знаменитый человек! Маркешка-то его же рода, от братьев его, что ли, они произошли. Муравьев, когда в первый раз Маркешку увидел, сказал: «Какой же ты богатырь, Хабаров, а такой маленький да кривоногий!»

Все засмеялись.

* * *

Через неделю караван подходил к деревне Хабаровке.

– Твоим именем, что ль, названа? – с насмешкой спросил Федор у Маркешки.

– Нет, это Ерофеевым! – с потаенной обидой ответил казак.

Маркешка простился со своими товарищами и с переселенцами. От Хабаровки он должен был вести часть переселенцев вверх по Уссури, а оттуда по тайге тропами провести во Владивосток военный отряд.

– А семья где у тебя? Или ты холост? – спрашивал Егор.
– Ребят семеро, да жена, да две старухи живут на Верхнем Амуре, – отвечал Маркешка.
– Далеко же ты на заработки ходишь!

Глава четвертая

В Хабаровке от переселенческого каравана отстали буксирный пароход, баржа с семейными солдатами, паромы с казенным скотом, взятым для продажи новоселам, торговый баркас кяхтинского купца и плоты с переселенцами, назначенными селиться на Уссури. Дальше вниз по Амуру поплыли паромы переселенцев, которым предстояло основать новые селения между Хабаровкой и Мариинским, и лодка чиновника, распоряжавшегося сплавом и водворением крестьян на новых местах.

Под Хабаровкой река заворачивала на север. Из-за островов пала Уссури, и Амур стал широк и величествен. С низовьев подули ветры. Целыми днями по реке ходили пенистые волны, заплескиваясь на паромы и заливая долбленые «арты». Сплав осторожно спускался подле берегов, лишь изредка переваливая реку и отстаиваясь в заливах, когда подымалась буря.

Местность изменилась. Еще под Пашковой начались крутые горы. За Хабаровкой исчезли казачьи посты. Оба берега стали пустынны и дики. По правому тянулись однообразные увалы, то покрытые дремучей вековой тайгой, то обгорелые, то голые и каменистые, то поросшие орешником и молодым кудрявым лесом. Левый берег был где-то далеко; хребты его, курившиеся туманами, лишь изредка проступали из ненастья, синея в отдалении над тальниковыми рощами островов.

Иногда на берегах виднелись гольдские[8] селения. Глинобитные фанзы с деревянными трубами и амбарчики на высоких свайках лепились где-нибудь по косогору близ проток в озера. Переселенцев гольды побаивались и не приближались к ним, да и сами крестьяне сторонились местных жителей, не зная еще, что это за народ, хотя казаки уверяли, что люди мирные и добрые. Убогий вид гольдских жилищ никого на плотах не радовал.

Реже попадались селения русских. Крестьяне, пришедшие на Амур этим же летом, жили в шалашах и землянках и день-деньской рубили тайгу. У староселов, пришедших два-три года тому назад, кое-где уж строились избы; лес отступил от них дальше, на расчищенных от леса солнцепеках были разведены и обнесены частоколом обширные огороды; хозяева разводили скот, сеяли хлеба, коноплю, гречиху, овес.

День ото дня сплав уменьшался. За Хабаровкой отстали воронежские крестьяне. Вскоре высадились на берег орловцы. В одной из старосельческих деревенек отстали и вятские. Дальше должны были плыть четыре семьи пермских переселенцев; их назначили селиться ниже всех – на озеро Додыгу[9].

Плоты их отваливали от старосельческой деревеньки хмурым ветреным утром. Над рекой низко и быстро шли лохматые облака.

Река слегка волновалась. Ветру, казалось, наскучило бесноваться, он ослабевал и более уж не завивал белых барашков на гребнях волн. Река стихала, она катилась тихо и мерно – мутная, набухшая, бескрайная, как море, уходившая в безбрежную даль, сокрытую туманами и дождями.

Мимо берега, переворачиваясь с боку на бок, проносились огромные голые лесины, коряги, карчи, щепы – остатки деревьев, разбитых невесть где, вынесенные горными речками в половодье.

Повсюду плыли комья усыхающей белой пены, накипевшей в непогоду; и от множества подобных предметов ширь реки становилась еще явственней, глубже и грозней.

Ветер не хотел стихнуть совсем и временами налетал с силой, рассыпаясь по воде, разводя мелкую зыбь и обдавая сырой прохладой собравшуюся у плотов толпу. Народ кутался

[8] Гольды – так до революции называли нанайцев.

[9] Озеро Додьга – озеро Силинское. Упоминающаяся дальше река Додьга – река Силинка.

кто во что мог, мужики и бабы ежились, а босые ребятишки приплясывали, как ямщики на морозе, или стояли на одной ноге, отогревая другую под штаниной, либо сидели на корточках, накрывшись зипунами.

Трудно было предсказать, как разойдется погода. Вдруг на миг-другой сквозь расползшееся облачко проглядывало солнце и, словно для того, чтобы подразнить иззябших за ночь переселенцев, пробегало по ним веселыми лучами; подставив под солнце голую руку, сразу можно было ощутить, как оно жарко палит, несмотря на ранний час. То вдруг облака темнели, ветер налетал откуда-то со стороны другого берега и приносил с собой частые брызги далеких ливней.

На берегу, подле плотов, собралась порядочная толпа. Староселы и остающиеся переселенцы вышли проводить отплывающих. Однако уральцы некоторое время никак не могли решиться, стоит ли плыть дальше в такой день. Некоторые говорили: коли быть непогоде, то не лучше ли переждать ее в деревне, чем отстаиваться где-нибудь на диком берегу? Казаки, сопровождавшие плоты, стояли за то, чтобы плыть, и говорили, что выгоднее хоть сколько-нибудь пройти дальше, пока позволяет погода, чем стоять на месте.

– На этот Амур и в ясный-то день надежды нет. Все тихо, покойно, а сядешь в лодку, доедешь до середки – ой забушует, и не знаешь, как обратно доберешься. Чего зря погоды дожидать.

На берег вышел чиновник, ночевавший в избе у старосты. Это был плотный, скуластый сибиряк с жесткой складкой у губ и живыми серыми глазами. Сплав подчинялся ему по всем правилам воинской дисциплины. Оглядев руку и потолковав со стариками, он приказал казакам отваливать и отправился на свою лодку.

На берегу засуетились и забегали озабоченные мужики с шестами в руках. Заголосили бабы. Тем горше было расставание, что вятские были последними российскими спутниками уральцев. Дальнейший путь предстояло совершать им одним.

Старики на прощанье перецеловались, все кланялись друг другу в пояс и желали благополучия на новоселье. Наконец отплывавшие разместились на паромах, с лодки чиновника послышалась команда лоцмана, уральцы взялись за шесты, лязгнули ими о каменистое дно, и плоты тронулись. Черная толпа провожающих, махая платками и шапками, расползлась по косогорам берега.

– От мыса-то тут коса пошла, ты гляди в оба! – кричал чернявый старосел-вятич казаку-лоцману, шагая по берегу вровень с головной лодкой.

Казак стал отводить лодку от берега. На паромах откладывали шесты и брались за греби.

– Ну, Христос с вами, детки, – крестил проплывавшие паромы седой как лунь дед из оставшихся вятских новоселов. – Ищите себе земельку да окореняйтесь. И дай вам бог, дай бог! – бормотал старик, и слезы катились по его темным морщинам.

Егору Кузнецову с переднего парома стало хорошо видно всю деревню. С вечера – приставали к берегу в сумерках – он не разглядел ее хорошенько. Теперь вся она была перед ним как на ладони. И как бы для того, чтобы повеселить Егора, в облаках образовалась пройма, сквозь нее заголубело небо, поток ярких радужных лучей брызнул на невысокие холмы и зазеленил на их склонах поля и огороды.

Видно стало, что деревенька ладная. Свежерубленые розоватые избенки ютились по склонам. Ближе к реке виднелись слепые бревенчатые амбарушки, построенные на свайках, но свайки эти были гораздо короче и толще, чем у гольдов. Видимо, у вятских было что в амбары складывать. Подле домов ни деревца, ни куста, словно тут испокон веков стояла безлесая и от этого на вид безрадостная сибирская деревня. Лес поблизости мужики вырубали, как злого врага. И в самом деле, от леса тут жить надо подальше – из него мошка тучами. Ближние увалы были скрыты низкими облаками, и казалось, что кругом деревни сплошные поля и огороды. Родной вид их радовал Егора и укреплял в нем надежду на новую жизнь.

– Вот же окоренились люди-то, – как бы отвечая сам себе, вымолвил он.

– Вестимо, – отозвался с другой греби темнобородый Барабанов и кивнул на деревянные кресты на прибрежном холме. – Сколько корней-то пущено!

Дед Кондрат снял шапку и перекрестился.

Солнце скрылось, и небо плотно затянуло серыми облаками. Вода заплескалась о паромы, ветер обдавал гребцов брызгами разбитых волн.

Сплав теперь состоял всего из трех плотов. Впереди шла крытая лодка чиновника. Двое забайкальцев в халатах и в мохнатых папахах сидели на веслах. На корме правил лоцман сплава – шилкинский казак Петрован, переселившийся недавно из Забайкалья на Средний Амур. Ветер трепал его неподпоясанную широкую красную рубаху и хлопал ею, как парусом. Изредка над пустынной взволнованной рекой звучал его предупреждающий оклик.

Версты три-четыре все плыли молча, сосредоточенно работая веслами и ощупывая дно шестами, как слепые на чужой дороге. Миновав остров и отмели, караван выплыл на быстрину. Деревня скрылась за мысом. Казаки перестали грести, и лодку понесло течением. Мужики на своих тяжелых плотах, чтобы не отставать от нее, слегка налегали на огромные, тесанные из цельных бревен весла. Одна за другой навстречу плотам выплывали из тумана угрюмые широкие сопки. Волны, всплескивая, ударялись об их каменные крутые подножия.

– А что, Кешка, – обратился Федор к казаку-кормщику, – давно, что ль, эти вятские тут населились?

– Чего-то я не помню, который год они пришли, – глухо отозвался Кешка, низкорослый казак в ичигах[10] и грязной ситцевой рубахе. Бледно-желтое лицо его было безбородым, как у скопца, и скуластым, как у монгола. Ему было лет под сорок, но он выглядел гораздо моложе. Только мешки под шустрыми темными глазами старили его. – Тут, однако, еще до них заселение было, гольды жили на буграх, – продолжал он. – Им немного тут корчевать пришлось: настоящей-то тайги не было.

– Чего же эти гольды отсюда ушли?

– Кто же их знает! Чего-то вздумалось им, они и ушли. А которые вымерли. В старое время, однако, зараза была завезена. Тут кругом одни гольды – теперь, однако, верст на полтораста, кроме их, нет ни души. До самой вашей Додьги поплывем – русского человека на берегу не увидим. Только солдаты кое-где живут на станках[11]. А чтобы поселение – этого тут нету. За Додьгой, как сказывал я, живет один русский с гольдами.

– Это как ты называл-то его? – перебил казака Федор. – Чего-то я запамятовал…

– Бердышов он, Иван Карпыч. Да он сам по себе на Амур пришел, от начальства независимо. Да и он, однако, уже на додьгинскую релку перекочевал. А дальше опять верст семьдесят нет никого. Селили тут каких-то расейских – орловских ли, воронежских ли, да они перешли на Уссури. Чего им тут? Калугу он еще и не поймает, охотник с него никакой, зверя увидит – бежит. Сохатый ему ни к чему. Клюквы, брусники осенью бы набрать, луку дикого насолить – того не понимают. Цинга на них навалилась. Озимые у них затопило, на другой год хлеб с лебедой пекли, толкли гнилушки, с мукой мешали, ослабли – тайгу чистить не могли. Видишь, не все здесь выживают.

Мужики гребли так старательно, что плот поравнялся с лодкой. Из-за настила стали видны головы казаков, сидевших за укрытием и куривших трубки. Петрован вылез на крышу и уселся лицом к плоту.

---

[10] Ичиги – род легкой обуви на мягкой подошве.

[11] Станок (сибирск.) – станция, небольшое селение, где проезжающим давали «подводу», то есть зимой – сани, а летом – лодку с переменой на другом станке.

– Староселы-то с новеньких теперь сдерут за приселение! – весело крикнул он, кивнув головой в том направлении, где осталась деревенька, в которой высадились вятские. – Тайгу-то обживать, она, матушка, даст пить!.. Недаром, поди, старались…

– То же и на Додьге, если Бердышов построился, придется маленько ему потрафить, – заговорил Кешка, обращаясь к мужикам. – Деньжонками ли, помочью ли – тут уж такой закон.

– Где же их напасешься, денег-то? – возразил Федор.

– Кто обжил тайгу, тому уж плати, – поддразнивал Петрован. – Никуда, паря, не денешься. Рублей по пяти, по десяти ли теперь с хозяйства отдашь староселу.

– У нас дома, в Расее, промеж себя о таких деньгах и разговору не бывало, – вымолвил Егор.

– Зверовать наладишься, так деньги воротишь, – возразил Кешка. – Тут и соболь, и лиса, и рысь, выдра – всякий зверь есть; только знай бегай шибче по тайге-то, она прокормит.

– Хлебом одним разве проживешь тут? От гольдов или от Бердышова, уж от кого-нибудь перенимать придется. А меха китайцы скупят! – силился перекричать плеск волн Петрован. – Бердышов-то тут старый житель; он уж давно сюда пришел. Он теперь, поди, как хозяин на этой Додьге вас встретит, – продолжал он подшучивать над Федором.

– Иван Карпыч не передаст свое охотничество, – серьезно возразил Кешка. – Скорей всего, что от гольдов перенимать придется.

Егор, как человек, решившийся на переселение по убеждению и от души желавший найти для своей жизни новое праведное место, не обращал внимания на рассказы казаков. Он верил, что и тут жить можно и что хлеб вырастет. За годы пути Егор ни разу не посетовал на себя, что снялся со старого места. Он надеялся на свои силы и староселов не боялся.

– На лису-то мы и дома промышляли да на белку, – весело заговорил Федюшка. – Даст бог, и соболя поймаем. Про соболя и у нас слышно – на Урале-то.

– Тут кругом охотники ходят, соболюют. Туда вон подальше, в хребтах, уж шибко ладный промысел!

Быстрина несла плоты к крутому обрыву. Из курчавых орешников, росших по склону, торчал горелый сухостой. Выше шел оголенный увал, на склоне его валялись черные поваленные деревья.

– Эй, Петрован, а никак ветер меняется! – оживленно крикнул Кешка. – Кабы верховой-то подул, мы бы, пожалуй что, под парусами завтра дошли.

– И впрямь сверху потянуло, – отозвался Петрован. Но не успел он договорить, как ветер с новой силой ринулся навстречу и запенил плещущуюся в беспорядке воду. Петрован слез с крыши, взял правило у молодого казака. Забайкальцы сели на места, и легкая лодка снова быстро пошла вперед.

Ветер полоскал удалявшуюся красную рубаху лоцмана. Хотелось Федору спросить у Кешки, как же все-таки им придется рассчитываться с Бердышовым и много ли, в самом деле, по здешним обычаям следует ему с каждого новосела, но смолчал, чтобы казак лишний раз не посмеялся. «Нет, наверно, зря они балясничают. Быть не может, чтобы Бердышов запросил по десяти рублей», – утешил он себя.

Егора тоже заботила предстоящая встреча на Додьге со староселом. Сторублевая ссуда, выданная ему, частью уже разошлась, а частью распределена была до последнего рубля.

Берега затянулись туманной мутью, с плотов, кроме волн и мглы, ничего не стало видно. Следовало бы пристать и отстояться где-нибудь в заливе, покуда хоть немного не разъяснит, но пристать было некуда. Под скалами вода кипела на камнях, приближаться туда опасно, казаки повели караван через реку. Разговоры стихли, все усердно заработали веслами.

Полил дождь, ветер утих, и волны стали спокойней. Где-то проглянуло солнце, лучистые столбы его света пали откуда-то сбоку, сквозь косой дождь, и вокруг плотов во множестве загорелись разноцветные радуги, перемещавшиеся при всяком порыве ветра. Серебрились, уда-

ряясь о воду, дождевые капли, и казалось, что на реку сыплется множество мелких серебряных монет; весело плескались голубовато-зеленые прозрачные волны, насквозь просвеченные лучами. Повсюду, куда хватает глаз, сквозь многоцветный, изнутри светившийся ливень виднелись яркие просторы вод. Куда девалась их муть, их глинистая желтизна, нанесенная в Амур из китайских рек!

Вдруг пала густая тень, и в тот же миг все снова приняло вид мерклый и серый. Остались лишь косые потоки ливня и мутная река, кипевшая водоворотами.

– Братцы, наляжем!.. – тонко покрикивал Кешка.

Мужики дружно вскидывали в воздух полуторасаженные весла. Поскидав мокрые армяки, Егор и Федор работали в одних почерневших от ливня рубахах; с их зимних шапок и с бород текли струи, на изможденных лицах пот слился с водой, глаза полны были решимости: реку во что бы то ни стало нужно было переплыть как можно скорее.

– Бабы, не удайся мужикам! – покрикивала мокроволосая разгоревшаяся Наталья, ворочавшая на пару с силачкой Барабанихой запасную гребь.

Шумела вода, взрезанная торцом крайнего бревна, и полоса ее, гладкая, как стальной клинок, с плеском откидывалась напрочь. Где-то в стороне, неподалеку от плотов, вынырнул малый островок и проплыл мимо, как кудрявая романовская шапка, кинутая в воду. Приближались к отмелям. Федюшку поставили с шестом на носу парома. Промеряя глубину, он каждый раз оборачивал мокрое, скуластое, веснушчатое лицо и покрикивал весело:

– Пра-аходит!..

Вскоре плоты вошли в протоку между островов. Дождь окончился. В спину гребцам, навстречу каравану, подул холодный сырой ветер. Опять пошли волны. Пришлось налегать на шесты. Караван продвигался вдоль берега, укрываясь от ветра под самые островные тальники.

Вдруг откуда-то издалека до слуха плывущих донеслись голоса, тянувшие что-то вроде песни. Время от времени эти дружные расплывчатые звуки перекрывались чьей-то визгливой и пронзительной скороговоркой. Все стали озираться по сторонам. Караван шел протокой меж высоких голенастых тальниковых лесов. Слева мимо паромов проплывал островок, открывая желтую песчаную отмель, тянувшуюся вдоль берега. На косе бесились волны, с грохотом выбегая на нее во весь рост и завивая косматые водяные вихри. За широкой протокой, на матером берегу кучка людей тянула бечевой большую черную лодку с косым парусом. На носу ее стоял человек без шапки и, повизгивая, что-то кричал.

– Переваливать Амур хотят, – пояснил казак. – Это гольды тянут в Китай торговца с мехами. Э-эй, джангуй![12] – заорал он. – Твоя майма[13] откуда куда ходи?

С маймы донеслись слабые отклики. Кешка насторожился, приложил к уху ладонь.

– Однако, это китаец-то знакомый, – сказал он. – Тут их трое братьев неподалеку от Додьги торгуют, в той деревне, где, я сказывал, у гольдов Бердышов жил.

Кешка что-то прокричал китайцам не по-русски и, вслушавшись в их ответ, наконец уверенно сказал:

– Младший брат в Сан-Син[14] пошел за товаром.

– Лавка, что ль, у них?

– В юртах же торгуют. Места тут глухие, а охота хорошая, они у гольдов меха берут. Эти три брата – богатые купцы, силу тут имеют в тайге. Они еще у Муравьева выпросили позволение торговать здесь. При Муравьеве, однако, только один их отец тут торговал. Все инородцы здешние у них в кабале. Зимой они кругом по тайге нартой ходят. Тут у них все в долгу: и орочоны и гольды. Гольдов крепко держат. Чуть что – палкой его. А гольд торговца увидит – на

[12] Джангуй – хозяин (искаж. китайск.).

[13] Майма – торговое речное судно.

[14] Сан-Син, или Илань – один из крупных городов в Маньчжурии, на реке Сунгари.

коленки перед ним. Этот китаец последние-то годы стал и с русскими торговать. Верстах в семидесяти пониже того места, где вас селят, на устье Горюна, есть деревенька переселенческая – Тамбовка, туда они муку возят и мало-мало толмачат уж по-нашему – научились. А дальше начнутся русские деревни, так они и туда ездят. А теперь, говорят, сюда из Маньчжурии потянулись другие торгаши. Как же! Имя с руцкими выгодно торговать. Тут теперь сколько народу! Раньше им эдак-то торговать не давали. Маньчжурские нойоны – те сами не дураки были об этом деле; чтобы не без соболей с Амура вернуться, уж шибко заботились. А теперь, при русских, торговцам раздолье.

У Федора глаза сузились, он так и впился взором в рассказчика.

– Мы первые-то разы тут проходили, маньчжур нойонто еще ездил по гольдам, собирал с них албан, дань по-нашему, с головы по соболю, да еще выторговывал сколько. Однако, полну майму мехов увозил. А русские тут и прежде до Муравьева бывали, беглые селились, на охоту ходили.

С реки рванул сильный ветер. Паром покачнуло. Мутная волна вдруг поднялась перед тупым носом парома, с шумом обрушилась на настил и разбежалась по нему ручьями. Грузы и продукты переселенцев были подняты на подставки и закрыты широкими берестяными полотнищами. Вода их не коснулась, но ручьи забежали в балаган, устроенный посреди плота. Завизжали ребятишки и, покинув свои убежища, полезли в мешки. Бабка Дарья, Наталья и Агафья стали перебирать подмоченное добро.

Снова запенился водяной гребень, и волна обкатила переднюю часть парома. Кешка изо всей силы навалился на кормовое весло, направляя паром следом за лодкой в узкую и тихую протоку, открывавшуюся в тальниках.

Иногда было видно, как волна, далеко не достигнув берега, вдруг сшибалась с другой; слившись, они вздымались крутым водяным бугром и, на миг превышая седым венцом иные волны, победно всплескивали к небу гроздья брызг и тотчас же распадались. Плоты пристали к берегу.

– Бушует наш Амур-батюшка, – вымолвил Кешка, оставляя правило и озирая реку.

– Не дай бог, замешкались бы мы на середке, была бы беда! – отозвался Федор.

Глава пятая

Ветер ослаб лишь в сумерках, когда плыть дальше было поздно, и переселенцы стали располагаться на ночлег. В берег вбили колья. К ним подтянули плоты.

Казаки раскинули барину палатку, а сами расположились подле нее, у костра. Обычно они не ставили себе палатки. В хорошую погоду ночевали на лодке, где устроен был навес от дождя. Там у барина оборудована довольно просторная каютка. Сам чиновник предпочитал ночевать на берегу в палатке, где устанавливалась легкая походная койка, укрытая пологом-накомарником.

На этот раз погода была столь переменчива, что и казаки, посидев немного у своего костра, не поленились разбить себе палатку.

Под берегом на широкой отмели устраивались переселенцы.

Мужики разбрелись по лугам острова в поисках наносника для костров. Егор на бугре нашел гниловатую сухую осину, срубил ее и, развалив, по частям перетаскал к огню. Дым от гнилушек отгонял комаров, появившихся сразу, как только стал стихать ветер.

Когда стемнело, к стану подошли казаки и принесли с собой бутылку ханшина. Они уходили пьянствовать к переселенцам: с глаз долой от барина, который за попойки бранил их жестоко.

Егор не пил. Барабанов пригубил «для прилику». Кешка с Петрованом распили бутылку и порядочно захмелели.

Кешка стал рассказывать про Ивана Бердышова. Казак не впервые сопровождал переселенцев и любил похвастаться перед ними знанием здешних мест, жизни и людей. Слушать его собрались крестьяне от других костров. Пришли братья Бормотовы – Пахом и Тереха, низкорослый Тимофей Силин со своей женой Феклой. У балагана Кузнецовых развели большой огонь. Ветер колебал его пламя, обдавал всех сидевших подле едким густым дымом. На палках, воткнутых в землю, сушились одежда и обутки. Дед Кондрат, стоя над пламенем, поворачивал к нему то изнанкой, то верхом свой промокший насквозь армяк. Федор латал протершиеся ичиги. Егор делал шесты – очищал лыко с тальниковых жердей. Ребятишки в шалаше грызли сухари.

– Давно еще, – говорил Кешка, потягивая ганзу[15], – когда Амур этот отыскали, Иван-то Бердышов у купца Степанова ходил на баркасе. Сплавлялись они до Николаевска, по дороге с гольдами торговали, делали меновую. Как-то раз заехал он в Бельго. Стойбище это ниже Додьги верст на пятнадцать – двадцать. Вот торгаш, которого мы сегодня встретили, он оттель же. Там у них самое гнездо торгашей… Ну а тогда-то, хоть и не шибко это давно было, но все же население там было поменьше, хотя китаец этот уж и тогда торговал. Тамока и встретил Бердышов одну гольдячку. Она была у этих гольдов шаманкой.

– Как же это так? – заговорил Тимоха Силин. – Разве девка бывает шаманкой?

– Как же, бывает, – небрежно ответил Кешка. – Еще как славно шаманят!

– Мы до Байкала видели этих шаманок и у бурят и у тунгусов, – заметил Тимошка, у которого подступало желание высказать все, что он сам знал о шаманстве. – Там более грешат этим старики. Верно, слыхал я, что где-то была и старуха шаманка, но не девка же.

– Шаманство это как на кого нападет. Кто попался на это дело, тот и шаман, – туманно объяснял Кешка. – Хоть девка, хоть парень – все равно. Ведь это редкость, кто шаманить-то может по-настоящему, – со строгостью вымолвил он, и заметно было, что Кешка сам с уважением относится к шаманству. – Ну а она, эта Анга, так ее гольды зовут, была первейшей

[15] Ганза – медная монгольская или китайская курительная трубка.

шаманкой, хоть молодая и бойкая, а, сказывают, как зальется, замолится – гольдам-то уж любо, загляденье… Иван на русский лад Анной стал ее называть.

– Ну, была она шаманкой – девка молодая, мужа нет, жениха нет, гольдов этих она чего-то не принимала. Сама была роду отличного от остальных гольдов. Отец ее, в первые годы, как отыскивали Амур, помогал плоты проводить, плавал на солдатских баржах, бывал в Николаевске, там научился говорить по-нашему. Он раньше чисто толмачил – не знаю, может, теперь стал забывать, – с ними это бывает, с гольдами: выучится по-нашему, а старик станет, все позабудет, так, мало-мало толмачит, с перескоком. Его сам Муравьев знал. Дед у нее тоже, сказывают, был знаменитый промеж гольдов, он и шаманство знал, и удалец был. Его потом убили: деревня на деревню гольды между собой дрались и застрелили его. Это давным-давно было.

Ну вот, значит, встретил Иван ее и встретил. Она, паря, шибко хороша собой была, да и сейчас еще на нее заглядишься… Иван познакомился с ней. Отец да она жили вдвоем, приняли его, угощали. Они, гольды-то, хлебосольные: как к ним заедешь, так они уж и не знают, чем бы попотчевать. Иван, паря, не будь плох, давай было с ней баловать, известное дело – мужик и мужик. Беда! – усмехнулся Кешка. – Молодой, кровь играт… Ну, она себя соблюдала, никак ему не далась. Она гордая была, ее там все слушали, все равно как мы попа… Ничего у него не вышло, и поплыл он своей дорогой. Ну, проводила она его и пригорюнилась. Запал он ей в голову. Плачет, шаманство свое забывает, бубен этот в руки не берет. А у Ивана-то, не сказывал я, – вспомнил Кешка, – осталась зазноба дома. Ведь вот какая лихота: у него зазноба, а он баловать вздумал… Сам-то он родом с Шилки, из мужиков, от нас неподалеку, где мы раньше, до переселения, жили, там их деревня. Сватался он к Токмакову. Шибко этот торгован у нас, по деревням, по Аргуни и Шилке славился. Дочка у него была Анюша, паря, не девка – облепиха. Парнем-то Иван все ухлестывал за ней. А послал сватать, старик ему и сказывает: мол, так и так – отваливай… Иван-то после того, конечно, на Амур ушел, чтобы разбогатеть. «То ли, говорит, живу не бывать, то ли вернусь с деньгами и склоню старика». Свиделся он тайком с Анюшей перед отъездом, попрощался с ней и с первыми купцами уплыл в Николаевск. Своего товару прихватил, мелочь разную.

Ну, плывет, плывет… Где его хозяин пошлет на расторжку с гольдами, он и себе мехов наменяет. Он и в Бельго попал случайно. Купец послал его куда-то на лодке, а начался шторм, сумрак спустился, была высокая вода, его и потащило, да и вынесло на бельговскую косу. Утром он огляделся – гольды к нему приступают… Вот теперь я правильно рассказываю, – оговорился Кешка, – а то бы непонятно было, чуть не пропустил я главного-то. Гольды позвали его к себе, ну, тамока он и Анну встретил, и все так и пошло. Ну вот. Ничего у него с ней не вышло, а как приплыл баркас, Иван ушел на этом баркасе вниз по реке. Так дальше ехал, опять торговал, помаленьку набирал меха. В Николаевск привез целый мешок соболей, сбыл по сходной цене – он тогда с американцами выгодно сторговался, – набрал себе товару и сам, от купца отдельно, пошел по осени обратно. Как встал Амур, купил он себе нарту и пошел нартой на собаках. И вышла ему удача: по дороге опять наменял у гольдов меха. Ну, паря, все бы ничего, да за Горюном напали на него беглые солдаты – тогда их тут много из Николаевска удуло, – напали они на него и маленько не убили. Конечно, все меха отняли…

Замерзал он израненный. Наехали на него гольды, отвезли к себе в Бельго. Там его шаманка признала, взяла к себе. Они с отцом ходили за ним, лечили его своим средством. Ну вот, оздоровел он и грустит, взяла его тоска. Амурская тоска – это такая зараза, беда. Как возьмет – ни о чем думать не станешь, полезет тебе всякая блажь в башку, ну, морок он и есть морок. Нищий он, нагой, Иван-то, куда пойдет? Дожил он до весны у гольдов. Лед пошел – плывут забайкальские земляки. Вышел он на берег. «Ну, Иван, – сказывают, – Анюша долго жить приказала. Ждала тебя, ждала – не дождалась». Анюша-то ушла из дому темной ночью на Шилку – да и в прорубь. Не захотела богатого казака… Сказывают, как Ванча наш услыхал это, так и заплакал. Шаманка-то его жалеет, гладит по лицу, а у него по скулам текут слезыньки.

– Эх, Амур, Амур! Сколько через него беды!.. – вздохнул Кешка. – Иван-то и остался у гольдов, стал жить с шаманкой, как с женой, она свое шаманство кинула. Стали они зверя вместе промышлять. Жил он, как гольд, своих русских сторонился. Потом архирей приезжал, окрестил Ангу, велел им кочевать на Додьгу. Говорил Бердышову: «Отделяйся, живи сам по себе, заводи скот, хозяйство, а то огольдячишься. А мы тебе еще русских крестьян привезем, церковь на Додьге построим». Ну, однако, он уже теперь перекочевал, Ванча-то…

– Эх, паря, и баба у него, адали[16] малина, хоть и гольдячка, а красивая, – заключил Петрован рассказ Кешки. – Игривая, язва! Как взглянешь – зачумишься, – покосился он посоловевшими глазами на темно-русую и миловидную Наталью Кузнецову. – Купец Серебров какие деньги давал Ивану, чтобы привел ее на баркас.

– Не взял Иван, – заметил Кешка.

– Тут какую переселеночку дешевле сторговать можно, – продолжал Петрован.

Наталья поднялась и отошла от костра к шалашу. Крестьяне слушали Петрована молча и с явным неудовольствием.

– Баб-то нет на Амуре, не хватает. Привезут баржу с арестантками так их солдаты разбирают, – продолжал казак. – А уж ереселеночки-то другое дело… У нас на Шилке ли, на Среднем ли Амуре есть деревни, богатеют через баб, отстраиваются… Тракт-то идет зимний, господа едут, купцы…

– Я у вас в Забайкалье свадьбы видел, – заговорил Тимошка Силин, – так казаки калым за девок берут.

– Как же, это что казаки, что крестьяны – первая статья, – ответил Кешка. – У кого девок много, тот и богат. Замуж выдавать – с жениха калым.

– Это только разговор! – сказал Егор, не веривший, чтобы весь народ был такой. Ему казалось, что казачишки хвалятся зря.

– Другой-то муж после с нее весь калым выверстает, – усмехнулся Петрован. – К купцу ее сведет на проезжую… Вот тебе и вся недолга!

– Жену-то! – воскликнула Наталья.

– А кого же? Что ж на нее глядеть, – пьяно усмехнулся Петрован.

– Будет врать-то! – сказал ему Кешка.

– Такого-то окаянного мужика топором зарубить! – с чувством сказала Наталья.

– Пошто ты его рубить будешь? Он не кедра тебе. Или на Кару[17] захотела? Там тебя надзиратель не спросит, хочешь ты али нет спать с ним… – с обидой в голосе проговорил Петрован. – А муж-то для тебя же старается…

Петрован умолк, но в глаза никому не глядел.

Все молчали.

– Попутный потянул, однако, завтра будем на Додьге, – поднялся Кешка. – Пойти к себе, – зевнул он, – спать уж пора.

Вдали белели палатки, ветер доносил оттуда запах жареного мяса.

Казаки, распрощавшись с переселенцами, удалялись в отблесках костра.

– Накачало его в лодке-то, на земле не стоит, – кивнул Тереха Бормотов на захмелевшего, шатавшегося Петрована.

– Ну и Петрован!.. – вымолвила Наталья.

– Кешка-то поумней и поласковей его, – отозвался дед. – Вовремя его увел, а то твой-то чуть было не осерчал.

– Кабы не барин, я бы ему наляпал по бесстыжей-то роже, – сказал Егор, – знал бы, какие тут переселеночки…

---

[16] Адали – как, словно (забайкальский говор)

[17] Кара – Карийская каторжная тюрьма.

День я му-учусь, ночь страда-аю
и споко-о-ою не найду-у, –

вдруг тонко и пронзительно запел где-то в темноте Кешка.

– Вот барин-то услышит, он те даст!.. – поднимаясь, добродушно вымолвил Кондрат и, сняв с сука просохший армяк, стал надевать его, осматриваясь, как в обновке.

Я не подлый, я не мерзкий,
а раз-уд-далый ма-аладец! –

еще тоньше Кешки подхватил Петрован.

– Тянут, как китайцы, – улыбнувшись, покачала головой Наталья, выглядывая из-под полога, где она укладывала ребятишек.

Перемокли, передрогли
от амурцкого дождя-я-я, –

вкладывая в песню и тоску и жалость, вместе нестройно проголосили казаки.

Отыш-шите мне милую,
расскажите страсть ма-ю…

– Ну и жиганы!.. – засмеялся дед, хлопая себя ладонью по ляжкам.

Егор уж не сердился. «Жизнь их собачья! – подумал он. – На Каме тоже зимой тракт. До продажи жен там не доходили, но из-за денег много было греха, и разврат кое-где заводится от городской жизни, – люди идут на все, лишь бы нажиться. А тут, видно, нрав людской еще жестче».

Егор подумал, что старосел на Додьге – птица одного полета с этими казаками, надо будет с ним ухо держать востро. Тут он вспомнил оружейника Маркела Хабарова, который остался на устье Уссури. У того были другие разговоры и рассказы про другое…

Глава шестая

На другой день погода установилась. С утра дул попутный ветер, и плоты шли под парусами. К полудню ветер стих, но казаки ручались, что если навалиться на греби, то к вечеру караван достигнет Додьги.

Был жаркий, гнетущий день. Солнце нещадно палило гребцов, обжигая до пузырей их лица и руки. Зной перебелил плахи на плотах и так нагрел их, что они жгли голые ноги.

Жар навис над водой, не давая подняться прохладе. Река как бы обессилела и, подавленная, затихла. По ней, не мутя глади, плыли навстречу каравану травянистые густо-зеленые луга-острова. Высокий и строгий колосистый вейник[18], как рослая зеленая рожь, стоял над низкими глинистыми обрывами, и воды ясно, до единого колоса, отражали его прохладную тень.

Было непривычно тихо. Казалось, жар горячими волнами набегал на лица гребцов, словно в неподвижном воздухе бушевала невидимая буря. Еще жарче стало, когда казаки подвели караван под утесистый берег. Зной, отражаясь от накаленных скал, томил людей двойной силой.

– Экое пекло! – жаловался, обливаясь потом, сидевший у огромного весла, почерневший от жары Барабанов. – Сгоришь живьем…

– Нырни в воду – полегчает! – шутил Кешка.

С травянистых островов на плоты налетело множество гнуса. Зудели комары, носились черные мушки, поблескивавшие слепни как бы неподвижно висели над плотами, намечая себе жертвы. Колючие усатые жучки больно ударялись с разлета в лица гребцов, гнус изъедал босые ноги, впивался в старые расчесы. Мошка роями вилась около коротких, севших от стирок порток.

Время от времени Егор, бросив весло, хлопал себя ладонью по голым потным ногам, оставляя багрово-грязные потеки.

Мошки кругом было великое множество. В жару она стояла над плотами черной пылью, а к вечеру над протоками меж лугов слеталась зеленым туманом, на который глядеть было тошно. В зной она не жалила так жестоко, как слепни, но зато набивалась в уши, в рот, в глаза. Едва же подымалась вечерняя сырость, как мошка с жадностью изъедала на людях всякое неприкрытое место.

Чтобы спастись от гнуса, обматывали лица и головы тряпьем и платками. Дети укрывались под обширными пологами. На всех плотах дымились костры-дымокуры, сложенные из гнилушек. Слабая синь расстилалась над рекой от каравана.

Греби рвали воду, шесты лязгали о гальку, сопка за сопкой уплывали назад, дикие ржавые утесы становились все круче и выше, нагоняя тоску на мужиков. Вдруг течение с силой подхватило плоты. Каменный берег, выдавшийся далеко в реку и как бы заступивший путь в новую страну, быстро поплыл вправо, и взору переселенцев представилась обширная, как морской залив, речная излучина.

Река достигла тут ширины, еще не виданной переселенцами. Байкал они переходили по льду, а зимой он выглядит заснеженной степью. Сибирские реки в тех местах, где их переплывали переселенцы, ни в какое сравнение с Амуром не шли и еще под Хабаровкой померкли в их памяти.

Далеко-далеко, за прохладным простором ярко-синей плещущейся воды, над зелеными горбовинами левобережья, как замершие волны, стояли голубые хребты.

Легкий ветер засвежил запаленных гребцов, погнал комарье и мошку от их красных лиц. Из-под пологов на ветерок выползли ребятишки. На носу головной лодки показался барин.

---

[18] Вейник – растение семейства злаковых, сходное с тростником.

– Во-он додьгинская-то релка обозначилась, видать ее! – оборачиваясь к плотам, крикнул Петрован с лодки, указывая на холмы.

У кого из переселенцев в этот миг не дрогнуло и не забилось чаще сердце? Вот и конец пути! Близка новая жизнь, и новая судьба так близка, что даже страшно стало, словно эта неизвестная судьба сама по себе жила на Додьге и поджидала переселенцев. До этого мига будущее все еще было где-то, а где – неведомо. Без малого два года шли люди и верили в будущее, представляя его счастливым, но далеким-далеким, до того самого мига, когда Петрован нашел Додьгу за поймой и махнул на нее своим красным рукавом.

Все стали вглядываться в додьгинскую релку, словно старались увидеть там что-то особенное. Но ничего, кроме леса, там не было видно.

Странно как-то стало Егору, что привычная дорога оканчивалась. Ему представилось, что завтра уж некуда будет ехать, и что-то жаль стало дорожной жизни.

Всю дорогу Егор так верил, что на заветной новой земле его ожидает что-то отменно хорошее, что сейчас даже растерялся. Вера в будущее провела Егора и через черную Барабу, и через забайкальские хребты. Он мог бы еще долгие годы брести, голодный и оборванный, ожидая, что когда-нибудь найдет ладную землицу и привольную жизнь. И вот, завидя додьгинскую лесистую релку, он понял, что теперь надеяться больше не на что, кроме как на самого себя. Сама эта Додьга показалась ему на миг чем-то совсем ненужным, чем-то напрасно нарушающим мерный ход его трудовой дорожной жизни.

– Переваливай! – вдруг неожиданно резко и громко крикнул Кешка.

Все налегли на весла. Течение и греби повлекли плоты через реку.

– Бабы, пособляй! – Наталья подбежала к запасным веслам, в голосе ее чувствовалось веселое пробуждение от дорожной тоски.

– Веселей, бабы, мужики, подъезжаем! – покрикивал Петрован.

Грозный каменный берег сдвигался вправо. Над его утесами глянула курчавая зелень склонов, а за ней, в отдалении, как сизая туча, всплыл лесистый гребень хребта.

Навстречу плыла поемная луговая сторона. Ветер доносил оттуда вечерние запахи травы и цветов. Дикие утки вздымались над островами и, тревожно хлопая крыльями, проносились над караваном.

– Эвон дымок-то… Что это? – воскликнул Федюшка. – Никак, люди живут?

За тальниками на пойме что-то курилось. Все вопрошающе взглянули на Кешку.

– Там озеро Мылки, – заговорил казак. – При озере на высоких релках гольды живут, а тут кругом место не годится никуда: болото и болото. Как прибудет Амур, все эти луга затопляет, пароходу до тех самых гор ходить можно, только колеса береги, за талины не задевай… Да васто тут не станут селить: ваше место вон, подалее: там редка высокая, на ней тайга и тайга, – поспешил он успокоить мужиков, видя, что они стали растерянно озираться по сторонам. – Есть там и бугровые острова, на них пахать можно, никакая вода туда не достигнет.

Солнце клонилось к закату. Жара спадала. Горы теряли свои обычные очертания и расплывались синея. Река ожила, она вся была в подвижных пятнистых бликах, похожих на рыбью чешую, и от игры их казалась набухшей; свет, отражаясь, переполнил ее, и казалось, что бухнет, прибывает вода. Над займищем появились перистые облака. Закат золотил их, ласкал и кудрявил, и они походили на пенистые волны, забегающие на песчаную черту приплеска в ясный полдень при свежем ветре.

Плоты приближались к поемному берегу. Белобрюхие кулики, попискивая, вылетали из мокрых травянистых зарослей и с криками кружились над плотами.

Барин стрелял влет утку. Дробь хлестнула по утиным крыльям и, булькая, рассыпалась по воде. Птица несколько мгновений продолжала лететь и вдруг пала на крыло и камнем рухнула в воду. Тотчас же Федюшка разделся, закрутил на смуглой шее веревочку с медным нательным крестиком и бултыхнулся за уткой. Барин платил ребятам за добытую из воды дичь, и они в

оба смотрели, когда он станет палить. Парнишка вскоре подплыл обратно и выбросил на плот пестрого селезня.

На занесенных илом островах виднелись толпы высоких голенастых тальников. В их вершинах, зацепившись рассошинами и корнями за обломленные сучья, висели сухие бескорые деревья.

– Тятя, а как же туда лесины попали? – спрашивал Барабанова сын его, темнолицый и коренастый, похожий на мать подросток Санка.

– Это вода такая здоровая была, наноснику натащила, будто кто швырял лесинами в тальники, – ответил за Федора кормовой.

Все посмотрели на вершины прибрежного леса.

– Неужто вода такая высокая бывает? – удивился Барабанов.

– А то как же… Бывает, паря! Тут, на низу, страсть какая вода подымается, – подтвердил Кешка. – Этих талин-то и не видать, как разойдется он, батюшка. Вода спадет – ты и местности не узнаешь. Где был остров, другой раз ничего не станет – смоет начисто, унесет хоть с лесом вместе, а где ничего не было – илу навалит, коряги нанесет, наноснику натащит, поверх еще илу – гляди, и новый остров готов. На другой год на нем уж лозняк пойдет, трава – остров корнями укрепляться станет. А то, бывает, в тот же год натащит деревьев живых, кустов, они на этом острове корни пустят, примутся. Начальство приедет, топографов привезет, глядит по карте. Что, мол, такое? Съемщики пьяные были, ленились, как же сымали остров, а он не там! Сымут карту сами, хвалятся: дескать, теперь верно. На другой год пароходы пойдут, так-сяк, опять не там остров! Потом привыкли… Теперь знают.

На белом прибрежном песке под тальником ходил выводок куличат. К ним прилетел большой кулик и стал кланяться, тыча долгим носом в песок. Пока барин в него целился, кулик улетел.

В тальниковом лесу открылась протока, ровная и прямая, как просека, залитая водой. В отдалении она расширялась.

– Вот и вход в озеро, – заметил Кешка, кивнув головой в ту сторону, – в самые Мылки. А вон луга на мысу. Гляди, сено стоит. Это об вас начальство позаботилось. Солдаты жили – накосили.

Минуя устье протоки, караван обогнул последние тальники на мысу и приблизился к увалу. Впереди стал виден высокий холм, падавший в реку крутыми желтыми обрывами.

– Вот она, додьгинская релочка, – сказал Кешка. – А там подалее, за бугром, прошла протока в Додьгинское озеро. Это релка меж двух озер: сверху – Додьга, снизу – Мылки. Там как голова, – показал казак на холм, – а сюда, пониже, как хвост протянулся.

Плоты тихо плыли вдоль обрыва. Опутанный множеством корней, этот обрыв походил на переломанный или растрескавшийся от времени плетень у земляного вала старой крепости. Переселенцы, волнуясь, но сосредоточенно и молча осматривали место, выдавая свои чувства лишь нетерпеливыми толчками. Было тихо. Только шесты лязгали об дно, вороша звонкую гальку.

Над прибрежным лесом на вершине сухой ели хрипло ворковал дикий голубь.

– Тимошка, – вдруг воскликнул Петрован, нарушая всеобщее молчание, – это, однако, с тобой здешние птицы здороваются! Давай, мол, знакомиться.

Силин задрал голову, но не нашел нужным возразить казаку.

Дикий голубь вспорхнул и улетел. Над лесом парил коршун. Последние лучи солнца облили его оперение алым светом. Сгорбившись и вытянув лапы, он повис в воздухе подле вершины той же ели, с которой только что улетел голубь, и мягко опустился на бескорый розовый сук, складывая крылья.

Все невольно посмотрели вверх. Взрослые как бы безразлично, а мальчишки со злом.

– Гляди, ребята! Курят утащит, – сказал им дед. Куры у переселенцев были с собой на плотах в решетчатых ящиках.

На носу лодки барин что-то говорил, обращаясь к казакам и указывая на берег.

– Привалива-ай! – раскатилась по реке команда Петрована.

Дружно опустили шесты. В последний раз зазвенела по дну галька, плоты зашуршали о песок. Гнус слетался к каравану. Знакомый зеленоватый туман загустел над бережком.

– Ну, в добрый час, Господи благослови, – пробормотал Егор и с колом под мышкой перешагнул с плота на мокрую косу.

От его босых ступней на песке оставались пальчатые следы. Вода, пузырясь, сочилась в них. Под обрывом Егор стал вбивать в землю кол. Тем временем Кешка, сойдя с парома, разглядел неподалеку свежие медвежьи следы. Мужики столпились и стали их рассматривать, как будто это для них было сейчас важным делом. Оттиски звериных лап смахивали на отпечатки человеческих ног.

– Ступня, пальцы, адали Егор прошел, – пошутил Кешка. – Недавно же тут зверь был. Еще воды до краев в след не натекло. Косолапый где-то неподалеку гуляет, однако, в малинниках лакомится или до своей ягоды добрался, – певуче и любовно говорил Кешка про медведя, как про закадычного друга. – Со сладкого-то ему пить захотелось, он к реке и выходил.

– Слышь, Иннокентий, ты уж сруководствуй, пособи сыскать здешнего человека – Бердышова-то, – озабоченно проговорил помрачневший Федор.

– Иван-то Карпыч был бы дома, он бы уж обязательно вышел на берег, – ответил казак, разгибаясь. – Да и мишка бы тут не ходил. Ну, да уж ладно, я схожу разузнаю. Барин до него тоже шибко антирес имеет.

Казак сходил на плот, взял ружье и пошел по отмелям под обрывом.

– Ну что, Кондратьич, приехали, – обратился Барабанов к Егору, и голос его осекся.

Кузнецов глянул на Федора: глаза того жалко сузились, словно он собирался заплакать.

Егору тоже было не по себе. «Пристали к пескам, а наверх не взойти, – подумал он. – Тайга да комары».

– Полезем наверх, поглядим, – хмурясь, сказал он Федору.

– Что же делать-то? – растерянно отозвался тот. – Видать, нам больше ничего не остается.

Он усмехнулся горько и зло, глядя куда-то как бы сквозь Егора.

– Пойдем, брат, – для ободрения Кузнецов ткнул его кулаком под бок. – Лесину хоть срубим, а то пристали, где дров нету.

Действительно, плавникового леса поблизости было мало. Весь наносник остался выше. На ночь следовало запастись дровами.

Егор и Федор обулись в кожаные бродни и, цепляясь за корни и кустарники, полезли вверх по глинистому рыхлому обрыву и с треском стали продираться по тайге. Следом за ними взобрались остальные мужики и парни.

На реке с заходом солнца посвежело, но в чаще стояла влажная духота, пропитанная лесной прелью. Было сумрачно. Под мхами хлюпала вода. Осины, лиственницы и березы росли близко друг к другу. Старая ель, обхвата в четыре толщиной, сверху обломленная и расщепленная, словно с нее тесали лучину, внизу, у толстых обнаженных корней, зияла черными дуплами. Пенек, гнилой и желтый, изъеденный муравьями, был разворочен медведем. Какая-то большая птица испуганно шарахнулась с ветвей и, шумно хлопая крыльями, улетела в лес, задевая за густую листву. Из буйной поросли папоротников и колючих кустарников вздымались корни буревала с налипшим на них слоем мочковатого перегноя. Роилась мошка, вздымаясь из раздвигаемых трав.

Егор полез через валежины и, вынув из-за пояса топор, подошел к тонкой сухостойной елке – прямой и бескорой, как столб. Он обтопал траву вокруг и стал рубить дерево. К нему, прыгая через буревал, подбежал Илюшка Бормотов, Пахомов сынишка. Это был неутомимый,

бойкий парень, чуть постарше Федюшки Кузнецова. Он мог день-деньской ворочать греби, толкаться шестом, а вечером на стану его доставало затевать борьбу, плавать через протоки, ловить птиц. По утрам, поднимаясь раньше других, он шатался по тайге, свистел по-бурундучьи и, подманивая к себе зверьков, бил их. Где и когда приглядел он это, было неведомо.

Проплывая по Среднему Амуру, Илюшка сдружился с солдатами-сплавщиками. Народ это был как на подбор, головорезы. Иногда они собирались по нескольку человек, добывать себе харчи – попросту говоря, обворовывать огороды в прибрежных китайских деревнях или у казаков – и брали с собой разведчиком Илюшку.

Однажды, еще в Забайкалье, Илья украл у бурят барана из стада. Отец его избил и барана вернул. За Хабаровкой Илья угнал у гольдов лодку. Как ни строг был Пахом, но за эту кражу он стращал сына не от сердца, потому что лодка была тут нужна до зарезу. Пахом, хотя и не умел ездить в лодке, понимал, что без нее на Амуре, как без коня. Он не стал на этот раз драть сына, хотя для порядка все же немного попугал его.

Парень был смугл, под густыми темными бровями глубоко сидели глаза, скулы торчали, как скобы, – все это придавало его лицу выражение жестокости, весь он был какой-то темный и колючий. Неразговорчивый с детства, он был охотник до всякого дела. Воровал он, заведомо зная, что отец его прибьет, и делал это не от нужды, а от избытка сил и из удальства, не ведая еще, какие иные забавы, кроме драк и озорства, заведены для мужиков на белом свете.

Подбежав к Егору, Илюшка стал подсоблять ему и быстро заработал топором. Вскоре раздался треск, и елка повалилась. Егор, Илюшка и Федор живо развалили сухое дерево на части и стали сбрасывать его под обрыв.

Пока мужики были в лесу, на реку спустилась вечерняя синь. На другом берегу не стало видно ни леса, ни утесов, ни горелых полысней на горах. Сопки расплылись и приняли неясные очертания. Облака, плоские и длинные, подобно косам и островам, раскинулись по небу, как по бескрайней и печальной озерной стране. Не было никакой возможности различить, где тут река и где небо, где настоящие острова и где облака. Казалось, что весь видимый мир – это Амур, широко разлившийся и затихший в трепетном сиянии тысячами проток, рукавов, озер и болотистых берегов.

Мужики молча покурили, сидя на поваленном бурей дереве, грустно подивились на чудесную реку и полезли вниз.

– Место высокое, – вымолвил Егор, сойдя с кручи.

Это было все, что он мог сказать в утешение себе и Федору.

– Дай бог!.. – глухо отозвался Барабанов.

Егор раньше времени не захотел загадывать. Будущее представлялось ему сплошной вереницей забот, подступивших с приездом на Додыгу вплотную. Сейчас же голод и усталость так давали себя знать, как, кажется, ни разу еще за все два года пути, и думать ни о чем Егору не хотелось. Он подошел к костру. Вокруг пламени толпился народ. Вернулся Кешка. Он сидел на корточках подле самого огня, окуная голову в дым, чтобы не заедали комары, тянул ганзу и что-то рассказывал мужикам.

– Сыскал я Иваново зимовье, – заговорил он, заметив Егора и обращаясь к нему. – Построился он неподалеку отсюда, в распадке. Избу поставил с полом и с полатями, печку сбил. Никого там нет, только висит юкола на стропилах, а сам-то он в тайге, видно.

– Кабы его покликать, – просил Тереха Бормотов, Илюшкин дядя, осьмивершковый детина с бородой-лопатой во всю грудь.

– Не услышит, хоть стреляй. Он где-нибудь сохатого промышляет. Может, тайгу чистить начнете, застучите топорами, он учует – выйдет.

Казак недолго посидел с мужиками. Кто-то окликнул его, и Кешка ушел по направлению к палатке.

Егор кое-как пожевал солдатских сухарей и вяленой рыбы. Глаза его слипались, и он завалился под полог подле ребятишек. Наталья что-то говорила ему, всхлипывая. Но веки у Егора отяжелели, руки, ноги отнялись от усталости, и он не стал ее слушать. «Пришлось бы сегодня проплыть дальше, силушки бы не стало поднять весло», – подумал он, засыпая.

Близко в лесу прозвенела полуночница. Под стук ее Наталье чудился зеленый луг на займище над Камой и табун коней, позванивающих где-то в отдалении боталами.

Глава седьмая

Рассвет. Заря горит, и все небо в тончайших нежно-розовых и палевых перистых облаках. Сквозь них видно ясное небо. Прохладно. Из-под тальников тянется серебряная от росы трава.

Звонко кукует кукушка. Кудахчет курица на плоту в бабкином курятнике. Река курится туманом. Лес в волнистом тумане, словно колдуны окутали его седыми бородами. Дальние сопки порозовели. Из-за хребта глянуло солнце и полило лучи через лес и реку на желтую отмель, освещая стан переселенцев, как груду наносника, выброшенного рекой за ночь.

Долговязый парень в казачьих штанах пробежал по стану, созывая переселенцев на осмотр местности. Крестьяне полезли из-под мокрых пологов. Женщины раздували в тепле огнищ угли. Ребятишки натаскали хвороста. Весело затрещали костры, повалил дым.

Бойко на весь лес заливается кукушка. Звонко и чисто раздается ее кукование в холодной и торжественной тишине утра.

«Долго ли проживем на этом месте?» – загадывает Наталья, стоя на камне и умываясь прозрачной утренней водой. Птица чуть было не смолкла, словно поперхнулась, но тут же, встрепенувшись, закуковала чаще и веселей, словно дерзко подшутила над Натальей и сразу же поспешила ее утешить.

«Не знай, как понять: видно, что первый год тяжело будет, а дальше проживем, что ли… – неуверенно истолковала Наталья кукушкину ворожбу. – Господи, да так ли? – вдруг со страхом подумала она, подымаясь и вытирая лицо. – Где жить-то станем?» Она оглядела темный лес и реку, несущуюся из тумана.

А кукушка все куковала.

Мужики, вооружившись топорами, собирались к палатке барина. Петр Кузьмич Барсуков был молодой сибиряк, года три тому назад окончивший университет в столице и уже успевший там порядочно поотвыкнуть от своей суровой родины. Недавно его перевели из Иркутска в Николаевск на устье Амура, в распоряжение губернатора Приморской области.

В это утро Барсуков испытывал такое чувство, как будто его отпускали из неволи. Наконец-то он водворит на место последнюю партию переселенцев и сможет подняться в Хабаровку, а оттуда отправиться в Николаевск. Скитания по реке надоели ему.

Несмотря на привычку к путешествиям по тайге и по рекам, тоска, особенно за последние дни, давала себя знать. Эта была та странная, внезапно охватывающая человека тоска, которой подвержены почти все, преимущественно молодые, путешественники по тайге. Он знал случаи, когда точно в таком состоянии, какое было сейчас у него, приезжие из российских губерний, военные и чиновники, спивались, либо теряли рассудок, либо кончали жизнь самоубийством. Никакие красоты природы, никакое изобилие дичи, до которой обычно Петр Кузьмич был большой охотник, не могли более развлечь его. Пока шли дожди, он еще кое-как терпел эту тоску и одиночество, но когда началась жара, от которой сгорала кожа, трескались губы и, казалось, таял мозг, терпения его не стало. На ум то и дело приходила семья и все домашнее. Он побуждал себя изучать неведомую и интересную жизнь на Амуре, расспрашивал бывалых казаков, постреливал из ружья, рисовал в альбом и писал дневник, но делал это все единственно потому, что знал – так надо делать, чтобы окончательно не раскиснуть. Но ему очевидно было, что наездился он в это лето досыта и пора возвращаться в Николаевск.

Однако, прежде чем плыть домой, он должен был побывать в Хабаровке, чтобы встретиться с другими чиновниками и выполнить кой-какие формальности. Только по окончании всех этих дел он мог плыть пароходом на устье.

Одна мысль долбила его мозг: поскорей водворить переселенцев – и домой. «Но как подумаешь, – размышлял он, – сколько еще придется отмахать вверх на шестах, а потом снова вниз, то жутко становится. Да еще неизвестно, когда будут в Хабаровке пароходы».

Ночь Барсуков спал плохо. Детишки, которых он этой весной перевез вместе с женой из Иркутска, не выходили у него из головы. С думами о доме поднялся он, как только чуть забрезжил рассвет, и, едва глянуло солнце, велел казаку идти на стан, будить переселенцев и созывать их к палатке.

– С добрым утром, мужики! – встретил их чиновник.

– Благодарствуем, батюшка! И тебе веселый денек! – кланялись мужики, ломая шапки и обнажая длинноволосые головы.

Барсуков предложил подняться на высокий лесистый бугор, видневшийся в версте от стана, и осмотреть местность. Река, широкая напротив отмели, где стояли плоты, резко, крутым клином сужалась к бугру, который выступал в воду мысом. Бугор был высок, с него, верно, хорошо видны окрестности.

– Что ж, пройтись можно, – согласились мужики. Толпа, давя ракушки, бодро двинулась по отмелям следом за Кешкой, взявшимся проводничать, обходила заливчики, которые то сужались, то расширялись, образуя чередующиеся песчаные косы.

– Вот где рыбачить-то, красота! – проговорил Кешка, перебредая заливы в своих высоких ичигах. – На косах-то неводить без задёва.

Недалеко от бугра, там, где за тальниками торчали кочки и буйно росла осока, открылся распадок между релкой и бугром. Пологие склоны его были порублены. Меж пеньков виднелась бревенчатая, крытая корой избенка. За ней торчал крытый жердями и берестой свайный амбарчик. Поодаль густо, сплошной чащей, росли березы и лиственницы.

– Иваново зимовье, – сказал Петрован. – Зайдем, что ль, ваше благородие?

– Пожалуй, зайдем, – согласился Петр Кузьмич.

– Аида, мужики! – повеселел Федор. – Поглядим, как тут люди живут.

Петрован открыл ставень, отвалил кол, и толпа полезла в дверь.

В избе было сыро и темно. В единственное оконце Бердышов вместо стекла вставил пузырь в крепком решетнике, чтобы зверь не залез в избу, когда ставень открыт. Обширная небеленая печь занимала добрую половину избы. Под потолком налажены были полати. У стены тянулись нары, устланные шкурами. По стенам висела одежда и кожаная обувь, на полках виднелась туземная расписная утварь из бересты и луба. Со стропил свешивались связки сушеной рыбы и звериные шкуры.

Мужики молча оглядывали жилье.

– Оставляет добычу, не боится, – заметил Барабанов.

– Кто в тайге тронет! – отозвался Иннокентий. – Но соболей-то не оставит, хорошую шкуру, конечно, прячет.

– А где прячет-то? – с живостью спросил Федор.

– Где!.. – передразнил его казак. – Мало ли где, это уж он знает.

– Топор, пилу имеет, а настоящего старания нет, – заключил Егор, осмотрев избу.

Барин вскоре вышел наружу. За ним выбрались из избы и мужики, почитавшие неудобным торчать там без хозяина.

– Жаль, что Бердышов в отлучке, – сказал чиновник, обращаясь к переселенцам. – Он был бы полезен для вашего брата. Он и сам давно поговаривал, чтобы сюда населили русских.

– Уживемся ли с ним? – спрашивали мужики.

– Да нет вам никакого смысла с ним ссориться, да и не из-за чего.

– Мы-то, конечно, да как он… – отозвались крестьяне, помня рассказы казаков о том, что по здешнему обычаю староселу за приселение надо заплатить или отработать на него.

– Я же говорю, ему давно хочется жить со своими. Делить вам тут нечего будет. Тайга велика, на всех хватит. Да и он как будто ладный мужик.

Казаки снова подперли дверь колом и закрыли ставень, барин сделал какие-то пометки в записной книжке, и толпа стала подыматься. Разводя руками густой зеленый орешник и моло-

дую поросль кленов, разрубая топорами какие-то цепкие колючие кустарники, перевитые ползучими растениями, мужики кое-как взобрались на бугор.

Вершина бугра была обширна, поросла молодым лесом, кое-где виднелись старые сломы от выгоревших и поваленных ветрами деревьев.

Барин поднялся на груду гниющего, трухлявого буревала и, укрепившись, стал осматривать окрестность в подзорную трубу. Мужики тоже полезли на валежины. Перед ними открылся обширный вид. Могучая река, изгибаясь, разлилась по долине. Один из широких и прямых рукавов ее тек со стороны к главному руслу, пробивая брешь в поемном береге, и вдали сливался с небом.

– Эх, и река! – удивился Тимошка. – Вон там и берега не видать.

– Наискось верст двадцать будет, – подтвердил Кешка. – А на низу еще шире бывает.

– Эвон и леса залила. А протоки-то, острова-то, как лоскутья нарезаны…

Прямо, напротив бугра, за рекой на утесах стоял частый еловый лес. На этой стороне реки внизу, на песках, дымились костры стана и, как букашки у кучи мусора, копошились люди меж плотов и балаганов. Вдоль реки от холма тянулась додьгинская релка, куда, собственно, и поселяли крестьян. По релке рос густой смешанный лес. Ближе к падям и заливам курчавилось чернолесье, высились ясени и тополя, дальше шел красный лес, взмахивали к небу огромными ветвями редкие кедры. Близ стана и до самого распада с бердышевской избой релка поросла березой, осиной, елью и высокими лиственницами.

– Вон и Мылки видать, – сказал Петрован, показывая на обширное озеро, залившееся в тайгу верстах в трех выше стана.

– Я давно собираюсь заглянуть в эти Мылки, – проговорил Петр Кузьмич, направляя трубу на дальние холмы. – Говорят, там была усадьба и жил маньчжурский нойон.

– Никак нет, ваше благородие! В Мылках, на нашей памяти, одни только гольды жили. Маньчжурцы эвон где, на той стороне жили – вернее сказать, иногда наезжали, останавливались напротив этой Мылки, вон, глядите-ка, между гор вроде заливчик и тальники. Это горло в озеро, озеро называется Пиван, вернее сказать, так называется остров и протока за ним, а озеро гольды как-то по-другому называют. На этом Пиване, неподалеку от устья, была городьба, у них была усадьба. Маньчжурцы приплывали сюда и собирали ясак с гольдов. Это я видел, как они плавают на больших лодках. Каждый год ярмарку открывали, торговали с гольдами, гиляками[19], которых, бывало, догола оберут, обыграют в карты. Тут всякого жулья наезжало. Хватало всего! Как первые-то разы мы с Николай Николаевичем проходили, все это видели. А потом Амур к нам вернулся, маньчжурцы все собрались и пошли домой. Однако решили, что не продержатся; только кто по деревням торговал, те еще остались и сейчас торгуют. Правда, говорят, что один нойон до сих пор сюда ездит тайком и все еще обирает гольдов, но он уж на Пиване не останавливается, а прячется по деревням. А там фанзы и городьба от них остались, и теперь еще колья забиты; если плыть мимо, так с реки видно.

– Не думаю я, чтобы нойоны сюда ездили, – задумчиво возразил барин. – Пограничная полиция знала бы.

– Откуда ей знать! Разве тут усмотришь? Я вам верно говорю.

Барин снова что-то записал в свою книжку.

– Ну а что же теперь на этом Пиване? – обратился он к казакам, слезая с гнилого ствола.

– Теперь-то уж все кинули то место, никто там не живет, разве гольды когда-нибудь на озеро рыбачить наезжают. Да неужто вы ни разу не были ни в Мылках, ни на Пиване? Да разве не вы назначали места для переселенцев?

– Нет. Это еще до меня были другие чиновники.

---

[19] Гиляки – так до революции называли нивхов.

– Мылкинские-то одно время на реку с озера выселялись, да как пароходы стали ходить, они чего-то испугались и ушли к себе на озерца. Гольды-то, ведь они так понимают, что в этом пароходе черт сидит и колеса вертит. Дальше-то вон идут озера, они туда и перешли. Озерцо за озерцом так и тянутся, как бусинки, да протоки, почитай, верст на двадцать – тридцать, до самых хребтов. Там рыбы этой!.. Как вода спадет на лугах, как пересохнут протоки – собирай ее руками. А где не возьмешь – лужа высохнет, рыба гниет грудами, птиц налетит тьма. Их пугнешь – аж небо как овчиной накроет. Вон луга-то мокрые блестят промеж лозняков, тут и озерца; гольды там при них и привились, как пчелки.

– Вода да болота, – качали мужики бородами, оглядывая окрестности.

– Кабы, ваше благородие, на Бурее-то нас населили. Вот уж там земелька! – уныло пробурчал Федор.

– Земельку-то, ее, матушку, и везде потом польешь, покуда расчистишь, – возразил Петрован. – Или, думаешь, на Бурее пашни тебе приготовлены, дожидаются? Тоже лес рубить надо, а где луга, так и вода заходит. На островах-то и тут хоть нынче пахать можно. Вон, гляди, бугровой остров тянется, пошто ему пропадать? Делай плот, станови на него коня да соху и сплавляйся туда. Балаган наладишь, да и вали попахивай! Прошлый год высокая вода была, а теперь года два можно не сомневаться: не затопит этот остров; а что кругом мокро, так то сверху кажется.

– А гляди теперь в эту сторону, – вмешался в разговор Кешка, – туда пошли зверятники, там и лось ходит, и кабан, лиса, рысь, соболь, паря, и тигра бывает – хватает всего! Рысь тут харошая, голубая, пятнистая. Всех народов зверь есть.

– Тигру шибко не бойся, она русского не трогает, – подхватил Петрован. – Ты встретишь ее, сам не трогай, и она, если не голодная, уйдет, как человека с ружьем увидит.

– С гольдами завести кумовство – тут князьями зажить можно, – вдруг заговорил долговязый казак Дементий, по прозванию Каланча.

– Кабы торгованов сюда населить, они бы раздули кадило, – согласился Петрован. – Тут бы зацаревали…

Кешка провел мужиков по кустарникам к западному склону бугра. Из-за елей блестело озеро. Бурная горная река падала в него из долины. Шум ее на перекатах слышен был явственно, словно там бурлили мельничные колеса.

Озеро протокой соединялось с рекой. За Додьгой и далее во все стороны тянулись леса, исчезавшие во мглистой синеве и туманах.

– Вон и самая Додьга пала в озеро. Рыбы там по осени, когда красная пойдет, полно, как у рыбака в корчаге. Лодкам мешают ходить. Городи эту Додьгу и хватай рыбу, кто чем сумеет.

Барин велел казакам провести себя по зарослям вниз, к озеру. Переселенцы последовали за ним. У подножия бугра рос пышный лиственный лес. Ветвистые тополя, толстые, как башни, громадные белокорые ильмы, осины, ясени сплелись густой листвой в сплошной шатровый навес.

Кешка, остановившись в высоких папоротниках подле какого-то стройного дерева с перистой светло-зеленой листвой, вынул нож из кожаных ножен и стал легко резать серебристую морщинистую кору.

– Поди-ка, Кондратьич, – подозвал он Егора. – Глянь, однако, такого дерева нет у вас на Руси.

– Не знаю, что за дерево. Пожалуй, что и верно, такое-то не растет у нас. Кора мяконькая, как бархат, – погладил Егор ладонью ствол.

Мужики столпились вокруг и не могли понять, что это за дерево.

– Э-э, братцы, да ведь это пробка! – заметил Егор, колупнув кору ногтем.

– Это шибко хорошее дерево, – подтвердил казак, снимая срезанный пласт коры и обнажая слой желто-зеленой маслянистой заболони.

– С этой коры первейшие балберы[20] на невода и на сетки ладят. Гольды это дерево берегут, зря не рубят. И вам тут жить – его знать надо.

Подошел барин. Кешка показал ему срезанную кору.

– Вот, ваше благородие, интересовались вы пробкой здешней.

– Так и тут есть бархатное дерево?

– Так точно, оно самое.

Барин отошел в сторонку, где сквозь поредевший навес листвы в темную сырость леса падали солнечные лучи. При свете их он разглядел кусок пробковой коры.

– Да-а, действительно самая настоящая пробка, – вымолвил он. – Что вы скажете? А? Южная растительность на этом Амуре, – обратился он к мужикам.

– Вот то-то и есть!.. – соглашались мужики и вздыхали тяжко, словно в этой самой южной растительности и была для них какая-то загвоздка.

[20] Балберы – поплавки.

Глава восьмая

– Дал бы ты нам, батюшка, денек-другой на раздумье, – говорил Федор, сидя на траве у палатки чиновника. Мужики одобрительно поддакивали ему. – Нам ведь тут жизнь жить, надо бы осмотреться ладом.

– Да какое тут может быть раздумье? Очевидно же, что место не затопляется. Земля, ведь сами же вы смотрели, на четыре пальца чернозем, лучше все равно кругом нигде нет. Леса годны для построек, кедр и лиственница, чего же еще надо?

– Это конечно, – соглашался Тереха, яростно мочаля бороду. – Видно, что округ нет получше местности, но все же дал бы ты нам срок, нам ведь тут неспособно селиться. Вот говорили: на Амуре земли много. А где она, земля-то?

– Хм-хм… – недовольно буркнул барин и сморщился, покусывая короткий ус.

– Зря колеса везли, – вздохнул Федор.

– Разве такой лес осилишь? Тебе-то, барин, чем скорей нас водворить, тем лучше, а нам-то как? – с жаром продолжал Тереха. – К пескам пристали, а наверх-то и не взойти.

– Сколько труда в этот лес убьешь, а как земля-то не станет родить? – рассуждал Пахом. – Вон она, сырая. Тут, поди, сгниет все.

– Леса и те погнили. Строиться-то как из гнилья?

– Опять же, знать бы, когда коней доставят.

– По-сибирски, может, тут и ладно… кто ничего не видал.

– Без скотины тут околеешь, – посыпалось со всех сторон на барина.

– Да вы что, подлецы?! – вдруг заорал Барсуков на поспешно повскакавших с травы переселенцев. – Пора тайгу чистить, а вы в затылках скребете. Что вы думаете, глупее вас люди были, когда это место выбирали, слепые, что ли, они были? Чтобы мне сегодня же представить решение! Надо успеть до осени расчистить место под огороды, пары поднять, а вы что? Смотрите вы у меня!

Окрик барина подействовал. Теперь нечего думать и гадать, как бы не упустить хороших угодий. Барин решительно приказывал селиться на релке, и мужики вновь, как и на родине, как бывало и по дороге, безропотно подчинились привычной силе гнета. Противостоять начальству они не могли, но зато, покоряясь ему, становились перед самими собой неповинными на тот случай, если бы место оказалось выбранным неудачно.

– Ладно, барин, раз велишь, чего же, – осмелился наконец седой Кондрат и выступил из толпы. – А ежели мы тут оголодаем, кто за нас Богу ответит?

– Лениться не будете, ничего с вами не станет, дедушка. Тут богатейший край, как это можно оголодать в нем? Это все дурацкие разговоры, наслушались их по дороге. Да ведь вам никто не запрещает занимать подходящие угодья, если они где-нибудь есть поблизости, – продолжал Барсуков значительно дружелюбнее.

Видя, что мужики идут на попятную, Петр Кузьмич смягчился. Ему неловко стало, что из личного желания поскорее вернуться домой он вспылил и так на них напустился.

– Но сейчас-то надо же где-нибудь селиться, сено тут заготовлено, – говорил он. – Найдете место лучше, затесывайте лес, и уж будет известно, что оно занято. Потом заимки там заведете…

Много чего могли бы мужики возразить Барсукову. Вместо богатых, плодородных земель, промучившись без малого два года в пути, они увидели перед собой горы, дикий заболоченный берег, полугнилой, заваленный буреломом лес и необозримую пустынную реку. Но не было охоты высказывать барину всех обид – их было много, и к тому же каждый понимал, что от пререканий толку не будет. Оставался единственный выход: браться за тяжелый и долголетний труд, чистить лес на релке и окореняться там, где высадились.

– Дивный народ, ваше благородие! – посмеялся Петрован, когда переселенцы разошлись от палатки. – Никакого понятия не имеют, чего сами хотят. Нищета, а тоже корысть-то их обуяла на земельку.

– Ничего, обживутся, тогда все поймут, чего им надо, чего не надо, – возразил Кешка, снимая березовой палкой вскипевший чайник. – Им пока что неохота такую-то тайгу чистить. А как примутся, их и не остановишь. Они сюда шли и, поди, не знай чего ожидали. Будет время – и окоренятся. Осмелеют еще и поперечничать начнут, – пошутил он. – Говоруны станут.

Пахом Бормотов, возвратясь на стан, выместил свою досаду на девке Авдотье, напустившись на нее ни за что ни про что. Федор охал и вздыхал, жалуясь Егору на свою долю, хотя в душе он не особенно отчаивался.

Спокойнее всех смотрел на будущее Егор Кузнецов. Хорошенько отоспавшись за ночь, он поднялся на прохладной заре с ясной головой, полный сил, здоровья и готовности к делу. Вчерашней вялости, когда ему даже думать об этой Додыге не хотелось, как и не бывало. В это утро, присмотревшись к додыгинскои релке и к ее окрестностям, он решил, что жить тут можно.

Сопки, гнилые деревья, топкая земля и буревал не скрыли от него богатства здешнего леса. Деревья, годные для построек и для любых поделок, росли тут в изобилии.

Иных пород Егор и вовсе не знал, но уверен был, что со временем и они окажутся к чему-нибудь годны, вроде как то пробковое дерево, мимо которого мужики прошли бы, не будь с ними казаков. Это не лес, а богатство было перед ним, еще неведомое. Земля, родившая буйные травы, чернолесье, ягодники и плодовую дичь, не могла, как ему казалось, не родить хлеба. А чистить эту землю под пашню у него – он знал – хватит силы и решимости.

Нет, не боялся Егор будущего в те дни, когда тощий и голодный, с впалыми щеками, выдавшимися скулами и надглазницами, в ссевшихся портках и в посконной рубахе, с топором за лыковой опояской стоял он на песчаной додыгинской кошке[21] против дремучего, от века не рубленного леса. Тайга не пугала и не давила его, словно он от природы готов был бороться с ней.

– Ну ладно, это ведь зря мы перед барином дуру пороли, – с обычной своей прямотой говорил он мужикам, собравшимся у его балагана. – Теперь надо работать. Конечно, надо же, чтобы начальство за место поручилось. Раз он маленько поорал на нас, барин-то, значит, уж поручился, и теперь нам жить тут… Да и то сказать, место тут как место, как везде тайга и тайга. Робить надо. Поплачем да потрудимся, бог даст, земелька-то отплатит за пот да за слезы. Верно казаки бают: или нас пашни ожидают приготовлены? А по правде сказать, ведь это не край, а раздолье, тут хоть вздохнешь. Никого нету. Всякий себе голова…

– Раздолье!.. – горько усмехнулся дед. – Эх-хе-хе, Егорушка, родимец! – с сожалением и мягкостью вымолвил он. – Земля эта век впусте лежала, почему-то не жили на ней люди, ты на нее большую надежду не клади.

– Как она хлеба не родит, придется нам на другое место кочевать, – заговорил Тимошка Силин. – На Уссури ли, еще ли куда.

– Не приведи господь! – вздохнул Пахом.

– Об Уссури теперь какие разговоры, – недовольно возразил Федор. – Ты бы, Тимошка, еще Барабинские бы степи вспомнил.

– Надо же кому-нибудь и тут населяться, – стоял на своем Егор, – не пустовать и тут месту.

– А ты, Кондратьич, при барине вроде как бы соглашался с нами? А? – спросил Тимошка.

---

[21] Кошка – песчаная или галечная коса, вытянутая параллельно берегу.

Кузнецов, казалось, не слыхал его слов. Конечно, перед барином и он был со всеми заодно. Чтобы Барсуков не думал, что место может нравиться, и он делал вид, будто поддерживает общество. А то скажут, мол, облагодетельствовали, решат за это мужикам какой-нибудь ущерб нанести, содрать чего-нибудь, недодать, противлений не примут. Решат: мол, лес, чаща – это пустяки, мужик все сдюжит. Так представлял себе Егор рассуждения чиновника.

Всего этого он не стал объяснять мужикам. Они и так его понимали. Вскоре переселенцы разошлись, качая головами и сетуя на амурские непорядки. Теперь для Егора само собой выходило, что лес этот на пятьдесят сажен вдоль берега и вглубь на сколько угодно станет его собственностью и что надо рубить, корчевать и жечь пеньки, подымать целину, потом копать в береге землянку да ожидать, когда сплавщики доставят коня и корову. Теперь некогда было думать и раздумывать, хорошо тут или худо и нет ли где места получше, а надо работать и работать, сколько станет силы. Место, как он понимал, годилось для жилья, на здешней земле можно было пахать и сеять. Правда, по дороге попадались угодья получше, но что было, то прошло, и мало ли где что есть хорошего, да нас там не ожидают.

В тот же день казаки намерили на каждую семью по пятидесяти сажен вдоль берега. Когда дело дошло до распределения участков, мужики, позабыв все свои наветы на додьгинскую релку, на сырость здешней земли и на гнилость леса, сами указали места, где кому больше нравилось селиться. Участки выбрали поближе к бугру, где лес не такой буйный и местами были полянки.

– Однако, уж земелька-то не шибко плохая, – насмешничал Петрован. – Оказывается, покуда споры да раздоры, а местечки-то себе облюбовали. Лакомые-то куски. Как, еще не столкнулись? А то, бывает, новоселы дерутся на здешних, плохих-то, местах.

Вечером переселенцы перевели свои плоты немного вниз, поближе к распадку, где берег чуть поотложе и где решено было строить землянки.

На другой день, ранним утром, барин и казаки распростились с переселенцами. Барсуков еще раз напомнил, что по инструкции следует сделать в первую очередь, и пообещал принять все меры к тому, чтобы скот и коней доставили вовремя. На всякий случай чиновник предупредил, что скоро на Додьгу для обозрения новоселья приедет исправник. Это последнее замечание он сделал для того, чтобы мужики не вздумали лениться. Но сам он предполагал, что исправник вместе с другими чиновниками задержался по дороге с частью сплава у староселов и сейчас, наверное, все они вернулись в Хабаровку и пьянствуют там в ожидании окончания дел. Пароход, на котором им предстояло возвратиться в Николаевск, возможно, еще и не остановится на Додьге.

– Кланяйтесь Ивану Карпычу! – Кешка, отплывая, помахал форменной фуражкой.

– Ну, слава богу, уехали! – облегченно вздохнули мужики, проводив Барсукова и казаков.

– Чего же «слава богу»? – попрекнула их старуха Кузнецова. – Сколько нам эти казаки про здешнюю жизнь пересказали!

– А без них мы не увидели бы, что ль, чего тут есть, а чего нету? – возразил Егор. – А от барина только и толку, что орет. Сам же нас этим в сомнение вводит.

– Бойкие эти казачишки! – вымолвил Пахом, когда лодка отдалилась и, взмахивая тремя парами весел, пошла поперек реки. – Знают здешнюю жизнь. По-ихнему, тут все ладно.

– У-у, гуранье! – сверкнул глазами Илюшка и слегка присвистнул. Но чувствовалось, что свистнуть он может со страшной силой, раз в десять, верно, громче, но соблюдает вежливость, побаивается и барина и тятю.

– Пытать надо землю, хлебушко родится ли, – толковала старуха Кузнецова. – Теперь, сынок, только покряхтывай. О хлебушке забота.

– До хлебушка-то с наших потов река набежит!

– За дело, в божий час! – крестился Кондрат. – Помолимся да чащу рубить…

В тот день крестьяне приступили к расчистке леса. Никто уж более не говорил, худо ли, хорошо ли будет жить тут. Все занялись делом.

В тайге было тихо и душно. В облаках горело томящее солнце. Похоже было, что собирается дождик. Облака то сходились, синея, хмурились и собирались в тучку, то снова расходились, и солнце обдавало людей жаром. Влажный, горячий воздух напоен был пряной и душистой таежной прелью.

Егор и Кондрат обмотались тряпьем, чтобы не заедала мошка, и, расчистив подлесок, принялись рубить большую лиственницу, росшую несколько отступя от берега, в самой трущобе.

Топоры, чередуясь, врубались в красноватую твердую древесину. Смолистые красные щепки отлетали далеко от дерева, ударяясь с силой в соседние стволы. Крепкое дерево с трудом поддавалось рубке.

Наталья, бабка Дарья и Федюшка рубили кустарник и драли из земли мелкие корни, а Васька и Петрован, как теперь на сибирский лад называли Петьку, таскали рубленые ветви и сбрасывали все это под обрыв.

Наталья была невысока ростом, но горяча нравом и спора на работу. Завязав юбки между ног, наподобие штанов, она продвигалась по чаще, вырубая кустарник не хуже любого мужика. За ней двигалась вся семья.

Лиственка, которую рубили Егор и Кондрат, стала вздрагивать от каждого удара, ее ветви трепетали. Егор крикнул семье, чтобы перешли поближе к берегу. Кондрат еще разок ударил топором, и дерево начало клониться. Все отбежали.

У комля натянулась и с треском разорвалась недорубленная древесина, ветки, коснувшись ближних деревьев, зашумели, как в бурю, ствол соскользнул с пенька, тучное дерево как бы спрыгнуло и во всю длину своего огромного клонившегося ствола с громом стало вламываться в чащу. Оно переломило несколько берез, сшибло сухую вершину у ясеня, отчего раздался сухой треск, как на пожаре, когда горят сухие доски, и, сокрушая вокруг себя заросли, давя молодые деревца и кустарники, тяжело рухнуло в мокрую землю. Гул пошел по тайге. Следом отвалилась вершина ясеня, где-то задержавшаяся было в качающихся деревьях, и чуть не зашибла Егора.

Долго не могла утихнуть всколыхнувшаяся тайга. По чаще от дерева к дереву пошли толчки, шумела листва; слышно было, как где-то в стороне развалилось и рухнуло наземь старое, гнилое дерево.

Лес валили и Барабановы и Бормотовы. Справа и слева слышался глухой стук топоров.

Солнце поднялось высоко, когда переселенцы, оставив на берегу завалы нарубленных кустарников и несколько поваленных деревьев, спустились пообедать. Накануне они наловили неводишком рыбы. Бабы напекли на огнище хлебцев. Соль, крупу, муку и сухари привезли с собой на плотах. Настя, маленькая дочка Кузнецовых, с утра поддерживала огонь и следила, как варилась уха.

Семья, вооружившись деревянными ложками, расположилась на гальке под тальниками вокруг котла, в котором плавал сазаний жир.

В разгар обеда Федюшка ткнул брата в плечо и показал рукой на реку:

– Гляди-ка, Егор, кто-то сюда едет.

Из-за низкого песчаного мыса выплывала лодка.

– Никак, к нам гольды плывут. – Из тальников, посасывая рыбью голову, вылез Федор.

Стан оживился. Переселенцы оставили обед и молча наблюдали.

В лодках сидели гольды в широких берестяных шляпах. Подняв весла, гребцы тихо плыли мимо стана вниз по течению, с любопытством оглядывая плоты, балаганы и самих переселенцев.

– Услыхали, что лес рубим, – вымолвил Тереха. – Тоже, поди, недовольны.

– Вот бы их пугнуть, – усмехнулся Федюшка.

– Ты, дурак, не вздумай, – пригрозил сыну Кондрат, – это ведь соседи.

Вдруг раздался в тишине оглушительный свист. Из тайги выбежал Илюшка Бормотов. Парень задержался там с ловлей какой-то птицы и, выбравшись из чащи к берегу, вдруг увидел гольдов. Порубив полдня тайгу, он уже почувствовал себя хозяином на релке. Пальцы сами прыгнули ему в рот, и, уж тут не стесняясь, он залился Соловьем-разбойником, чтобы гольды укатывали отсюда подобру-поздорову.

– Геоли, геоли![22] – тонкими напуганными голосами закричали в лодке.

Гребцы схватились за весла и поспешно и недружно принялись грести. Лодка закачалась и стала отходить подальше от берега.

Илюшка виновато посмеивался и чесал спину. Пахом ругался надтреснутым голосом и, обломав о сыновью спину сухую хворостину, наступал на него, размахивая кулаками. Илюшка, по-видимому, не очень боялся отцовских побоев и скалил зубы.

На стану бабы и мужики покачивали головами, не одобряя такого озорства, но в то же время и посмеивались над удиравшими гольдами, хотя было в их взорах, обращенных к уходившей лодке, и опасение: никто не знал, что это за люди, а придется с ними жить…

– Свой уж один гуран вырос, – говорил про Илюшку дед Кондрат, усаживаясь к котелку. – Вот еще гуранята растут, – кивнул он на внуков – смуглого голубоглазого Ваську и белобрысого Петрована, уплетавших горячую рыбу.

– Мы не гуранята, – с обидой возразил плосколицый Петрован, морща лоб и вскидывая на деда такие же, как у матери, серые с голубой поволокой глаза.

– Вот я тебе, постреленок!.. – пригрозил ему дед ложкой.

После обеда, кто мог спать в жару, забрался под пологи, растянутые в тени. Ребятишки, разгоряченные едой и работой, поскидали одежонку и полезли в реку. Вода на косах была теплая, и вскоре веселые крики и плеск раздавались вдоль всего стана.

Илюшка, пользуясь тем, что все взрослые улеглись, притащил из тайги какую-то горбоклювую черную птицу, связанную по ногам травой. Он ее поймал еще поутру и спрятал в дупло.

Парень держал птицу за связанные крылья. Пугаясь, птица вздрагивала и покачивалась на них, как на пружинах. Она тупо озиралась на сбежавшихся голышей и, когда кто-нибудь к ней наклонялся выкатывала остекленевшие зеленые глаза и злобно разжимала клюв.

– Это хищная тварина, – проговорил Федюшка, – она птичек жрет.

– Давай казнить ее, – усмехнулся, поежившись, как бы еще не решаясь на жестокость, Санка Барабанов.

Илюшка осторожно, чтобы не клюнула голое тело, поднял и кинул ее. Птица запрыгала по берегу, сначала медленно, как бы еще не веря, что ее отпустили, но понемногу осмелела – она запрыгала быстрей, добралась до реки, осторожно вошла в воду и, погрузившись, стала кое-как взмахивать связанными крыльями. Течение быстро понесло ее прочь от стана. Ворох ее перьев и пуха всплыл на поверхности реки, словно на этом месте распороли подушку.

Ребята стали кидать камнями. Птица отплыла.

– Ты, Илья, зачем над птицей изголяешься? – появилась вдруг между талин Агафья. – Вот я скажу Пахому, он с тебя шкуру сдерет! Это ведь божья тварь.

– Это вредная птица, – возразил Илюшка, – она гнезда зорит.

– Птенцов жрет…

– И в пищу не годится, – подхватил Санка.

– Почем ты знаешь, какая это птица? – с сердцем воскликнула Агафья.

– Мы знаем! – небрежно отозвался Санка, выгибаясь и почесывая голые лопатки, изъеденные комарами.

---

[22] Геоли – гребите (нанайск.)

– Пялишься еще, бесстыжий. Ведь это грех птиц так терзать, – стала было корить Агафья ребят, но они, прикрывая срам кулаками, разбежались по косе и кинулись в воду.

Позже из-под пологов вылезли отдохнувшие мужики. Егор, глядя на ребят, тоже стал купаться. Он плавал вразмашку далеко от берега и вдруг, подняв руки, надолго исчез под водой.

– Ну как, Амур глубокий? – спрашивал Федор.

Дед точил инструменты на круглом камне. Федор правил пилу. Бормотовы двинулись всей семьей в лес. Вместе с ними пошел Тимошка со своей тощей женой Феклой и с ребятами. Вскоре ушли и Кузнецовы. Стан опустел.

В тайге застучали топоры, затрещали падающие деревья, под обрыв повалились вороха ветвей.

Наталья, бабка и Федюшка после обеда рубили толстые ползучие корни у пенька лиственницы. Егор, подкопав пенек, заложил под него вагу. Рыжие и толстые, как бревна, корни не уходили в глубь почвы, а стелились по неглубокому слою перегноя, выдаваясь наружу, и дерево стояло на них, как елка на кресте.

Корни перепилили, обрубили, и Кузнецовы всей семьей принялись раскачивать вагу. Пенек не поддавался. Егору пришлось подрубить мелкие корни и подкопать его с другой стороны.

– Экая духота! – разогнулась Наталья, вытирая потный лоб, облепленный комарами.

Рой гнуса назойливо жужжал над головой. Влажный воздух был тяжел и недвижим, лес молчал, через солнце тянулись облачка. Деревья утихли в истоме. Руки и ноги наливались тяжестью, голова кружилась от прели и духоты, и думать в такую погоду ни о чем не хотелось.

Кузнецовы снова налегли на вагу. Пенек наконец отвалился, и переселенцы увидели черный перегной. Слой его был неглубок. На месте поднятых становых корней кое-где проглядывала глина.

– Вот и землица, – склонился дед, беря щепоть перегноя в темные пальцы.

Глава девятая

День за днем, от восхода до заката, переселенцы рубили и выжигали тайгу, корчевали пни и копали землянки в высоком обрыве берега. Понемногу край релки очищался от леса. Из обрубленных ветвей складывали огромные костры, пылавшие круглые сутки и отгонявшие дымом гнус. Эти костры пугали по ночам гольдов в соседних стойбищах.

Как-то раз, вечером, Федюшка на краю вырубленного леса встретил сохатого. Горбатый и бородатый зверь выбежал из леса и стал как вкопанный, с удивлением уставившись на балаганы. Парень сплоховал и во весь дух помчался обратно. На стану он рассказал мужикам.

– Рогатый зверь выбежал из тайги… Испугал до смерти.

– Эх вы, лесовики! – проворчал дед на сыновей. – Пошто ружье у сибиряков не взяли? Такая туша мяса сама пришла к стану, а вы что? Эх, родимцы!..

Дед никогда не ругался нехорошими словами, а если хотел кого-нибудь попрекнуть, с мягкостью в голосе говорил: «Э-эх, родимец!..»

Мужики поговорили, что надо бы походить с ружьями по следу и добыть зверя. На том и разошлись.

В сумерках кричал филин. Небо затянуло тучами. Ночью пошел дождь, перешедший в ливень. Егор еще с вечера затянул берестинами имущество, оставшееся на берегу.

Под утро крепкий сон его нарушила Наталья.

– Чужие на стану, проснись-ка, – шептала она тревожно. – Слышь, собаки заливаются? Жучка разбудила, сорвалась с места…

Где-то ниже стана лаяли собаки, кто-то не по-русски покрикивал на них. Слышно было, как собаку ударили и она завизжала. По-видимому, неизвестные отгоняли напавших на них крестьянских собак. Издали лаяли хрипатые чужие псы, подвывая, словно их удерживали на привязи.

– Это не Бердышов ли вернулся? – вымолвил Егор, отдергивая холстину, закрывавшую вход в балаган.

Брезжил мутный рассвет. Утро было теплое и сырое. В такую погоду весь мир кажется огромным парящим котлом, над которым только что подняли мокрую деревянную крышку. Туман раскинулся по реке и лесу. За рекой рваные облака ползли по склонам серых сопок и, цепляясь за лесистые распадки, оставляли там белесые лохмотья, стелившиеся снизу вверх, словно там тянули куделю с деревянных зубьев. Дождя не было, но на землю падала мельчайшая водяная пыльца.

Егор, накинув мешковину на плечи и вооружившись колом, пошел на лай. Его босые ноги ощущали мокрый теплый песок. Дойдя до бормотовского балагана, он различил в тумане неясные очертания лодки. Подле нее копошились люди, таскавшие на берег грузы.

– Это ты, что ль, Егор? – высунулся из балагана бородатый Пахом.

– Кто это на берегу? – спросил Кузнецов.

– Сам не знаю, я на всякий случай забил пульку, – осклабился Бормотов. – Не ровен час, как бы не бродяжки.

Неизвестные, выгрузив лодку, стали таскать грузы в распадок, к бердышовской избе. В тумане довольно ясно обрисовывались согнутые, горбатые фигуры с мешками на спинах.

– Нет, это не бродяжки, а гольды, – сказал Егор, вслушавшись в голос, окликавший собак.

– Может, родственники Ивана привезли ему товары, – согласился Пахом. – Рассветет – выйти бы к ним. Они, поди-ка, знают, где он промышляет.

– Может, и сам-то он с ними же.

– Голоса-то русского не слыхать, – возразил Пахом.

Туман стал редеть. К лодке со взгорья возвращалась женщина, за ней трусила собака. Кто-то хрипловато и глухо прокричал у избы. Женщина остановилась и бойко затараторила в ответ.

– Ишь, наговаривает, – усмехнулся Пахом.

– А тот на Кешку голосом сдается. Может, и впрямь Иван Карпыч?

– Ну бог с ними! Разъяснит, тогда пойдем, – сказал Егор и направился к своему балагану.

Спустя полчаса, когда туман рассеялся, толпа мужиков, хлюпая по лужам, подошла к потемневшей от дождя Ивановой избушке. Около нее ярко пылал большой костер. Поодаль двое мужиков, одетых в дабовые халаты[23], сидя на корточках, свежевали короткими ножами тушу зверя. Егор различил, что низкий горбоносый старик с косичкой на затылке, обутый в долгоносые улы[24], – гольд, а плечистый и рослый, с темными короткими усами, в поярковой шляпе на голове – русский. Обличьем он смахивал на казаков-забайкальцев. В его исчерна-загорелом лице, в усмешливом взгляде исподлобья было что-то сродни Кешке и Петровану.

Гольд, взявши сохатого за растопыренные красные ноги, перевалил его на другой бок и, оттягивая шкуру от хребтины, подрезал ее короткими и быстрыми движениями.

– Бог на помощь, добрые люди, – снял шапку Егор.

Мужики сделали то же самое.

Русский в поярковой шляпе разогнулся, обтер руки о высокую траву, а ножик о полу халата, мельком глянул на мужиков, наклонил голову, будто усмехнулся в темные усы, и что-то буркнул в ответ. Гольд тоже поднялся, мотнул головой и довольно чисто поздоровался с переселенцами по-русски.

Русский вытащил кисет и трубку, достал несколько листьев табаку, свернул их, вставил в ганзу и вдавил большим пальцем. Гольд стал рубить топором тушу зверя. Переселенцы наблюдали. У русского движения были неторопливы. Его широкие покатые плечи и бычья шея таили в себе, по-видимому, большую силу. Он высек огня, помолчал, покурил, искоса поглядывая на мужиков.

– Видать, хозяин приехал? – спросил его Федор.

– Однако, хозяин, – обронил тот. – Знаете, что ль, меня?

– Иван Карпыч, что ль, будете? – Не Бердышов ли?

– Однако, Бердышов, – ответил он, и это «однако», которому сибиряки придают множество разных оттенков, прозвучало на этот раз как насмешка над спрашивающими: мол, а кто же другой, как не я? Али народу много тут, не признали?

– Ну, так давай тебе бог здоровья, знакомы будем, – стали здороваться с ним мужики.

– Иннокентия-то Афанасьева, поди-ка, знаешь?

– Это Кешку-то? – переспросил Бердышов.

– Да амурский же казак, сплавщиком у нас на плоту шел. Он наказывал: кланяйтесь, дескать, как Иван Карпыч из тайги выйдет.

– Он нам и сказал про тебя.

– Ну и Петрован же был с имя? – спросил Бердышов.

– Как же, и он был, а еще Иван молодой с Горбицы и Дементий – здоровый мужик, долгий.

– Каланча-то? – дрогнув бровями, спросил Бердышов.

– Во-во, так будто его прозывали! Гребцами они у барина, у Барсукова Петра Кузьмича, работали.

– Не знай, что за Кешка, – вдруг со строгостью вымолвил Иван Карпыч и, нахмурив свои густые и неровные брови, подозрительно оглядел мужиков. – А вы с Расеи, что ль? – как бы между прочим, словно невзначай, спросил он, словно «Расея» была где-то тут, неподалеку.

---

[23] Дабовые халаты – даба – грубая хлопчатобумажная материя, чаще всего – синяя.

[24] Улы – обувь, шитая из лосиной или рыбьей кожи.

– С Расеи, батюшка, из-за самого Урала, с Камы.

«Экие недобрые эти гураны», – подумал Егор, глядя на нелюбезного хозяина.

Из избы вышла рослая гольдка в голубом шелковом халате, с длинной трубкой в руках и с золотыми сережками в ушах. Она приблизилась к костру, присела на корточки и с любопытством уставилась на переселенцев большими иссиня-черными глазами. У нее была матовая гладкая кожа, легкие скулы и алый рот. Выражение ее лица было живое и осмысленное. Все мужики заметили это, и гольдка понравилась бы им еще больше, если бы она не курила, смачно сплевывая на обе стороны.

– Вот привезли нас на эту самую релку, – заговорил Барабанов. – Мы-то, конечно, сперва не хотели тут селиться, да нас здесь силком оставили.

И Федор стал жаловаться Бердышову на чиновника, что он насильно водворил их на Додыгу, не позволил осмотреть как следует окрестности и самим выбрать подходящее место. Говорил он об этом, всячески приукрашивая притеснения чиновника, чтоб Иван знал, что они тут водворены волей начальства, по казенной надобности, и чтобы ему не задумалось заломить с них за приселение лишнего.

– Ну, да ничего, обживетесь, – опять как-то между прочим отозвался Бердышов.

По его знаку гольдка сходила в избу, принесла оттуда большую железную жаровню, вытерла ее тряпкой и поставила на огонь. Старик гольд кинул в жаровню вырезку мяса.

Заморосило.

Бердышов позвал мужиков в избу. Там сложены были мешки с мукой, связки сушеной медвежьей желчи, луки – большие и малые, ружья, колчаны со стрелами, два копья, туес с ягодой, ворох сушеных щук и чебаков.

Иван Карпыч выставил на стол бутылку ханшина, гольдка принесла жареного мяса и накрошила дикого луку. Мужики разместились на нарах, и Бердышов начал угощать их. В избе он стал порадушней и заботливо подливал ханшин в маленькие глиняные чашки. Он снял с себя шляпу и халат, подсел поближе к мужикам и уже не казался таким недоступным, как на первый взгляд. Его темные волосы по сравнению с черной, как вороново крыло, головой его жены казались темно-русыми. У него была большая голова, лицо широкое и лобастое. Оно сразу запоминалось какой-то особенной неровной линией густых бровей. Его крепкие руки, поросшие волосами, как видно, были сильны, из-под тонкой потной рубашки выдавались мускулы.

Понемногу крестьяне разговорились и стали рассказывать Бердышову про свое долгое путешествие, про невзгоды и сомнения на новоселье.

Бердышов слушал внимательно и больше уже не усмехался. Подвыпив, он объявил, что сам рад их приезду, что с голых и босых за приселение ничего брать не станет, но просит отработать ему на помочах: очистить остатки леса около его избы. На это мужики с радостью согласились.

– А насчет того, – говорил Бердышов, – что тут нельзя пашню пахать – ни к чему сомнения. Зря беспокоиться – только себя расстраивать. Тут и хлеба пойдут и всякие овощи растут хорошо. Еще и теперь столетние старики указывают на релках места, где были пашни. Говорят, будто когда-то русские тут проживали. Про это я как-нибудь расскажу еще. Шибко занятно, – переглянулся Иван с женой.

Гольдка улыбнулась смущенно и счастливо.

– Место подходящее. Так что обижаться вам не стоит. Тут высоко, земля черней. Ее в высокую воду не смывает. Уж эту додыгинскую релку удачно выбрали, не как в иных местах… А то, бывает, приедут переселенцы, а их на другой год топит водой. Конечно, барин, куда бы ни привез, все равно орать бы стал. Его ведь какое дело? Где приказано населить народ, там и вали, водворяй его, а не слушаешь – ори на него, да и все. Казенное дело такое – своего ума не надо! Только, однако, на этот раз подфартило же вам!

– Ну, уважил ты нас, Иван Карпыч, то есть так уважил!.. И мы тебя уважим, дай срок! – соловьем заливался охмелевший от вина и от радости Федор.

Его хитрые глаза заплыли, а лицо сияло. Отказ Бердышова от платы за приселение и рассказы его о том, что на Додьге пойдут хлеба, придали Барабанову духу.

– Вот теперь и я вижу, что тут жить можно, ей-ей! – весело приговаривал он, подсаживаясь поближе к хозяину и похлопывая его с осторожностью краешком ладони по плечу и как бы напрашиваясь в друзья.

Егора водка не веселила, и новостей, кроме той, что денег с него не потребуется, он не услышал. Как-то уж само по себе это было понятно, что и место тут высокое, и под пашни оно годится, и все прочее. Он был доволен, что Бердышов не берет денег. Жаль, конечно, что за пьянством пропадает время, годное для чистки леса. «Покуда теплая погода, робить бы, – думал он, – а не пиры пировать». Но уйти было нельзя. Впрочем, и он угощался охотно и с интересом присматривался к Ивану. Бердышов на первых порах выказал себя ладным мужиком, но Егор как-то невольно был с ним настороже.

А Федор сегодня, показалось ему, не походил на самого себя, и перемена эта в нем, должно быть, была не от хмеля и не от удачи, а что он останется с деньгами. Было в пьяной радости Федора что-то неприятное и поддельное. Подвыпив, он без всякой нужды хитрил по пустякам, делая вид, будто что-то знает особенное, а перед Иваном всячески старался выказать себя ловкачом. Похоже, что побаивался в душе.

Остальные переселенцы радовались, что дело так хорошо обернулось.

Пришел старик гольд и принес свежего осетра.

– Ну, строганины, что ль, отведаем? – предложил Иван мужикам. – Едали, что ль, строганину в Забайкалье? Приготовь-ка нам, Анюта, талу[25], – обратился он к жене.

Гольдка перепробовала лезвия нескольких охотничьих ножей, выбрала самый острый и тут же настрогала тонко и нарубила мелко сырой осетрины, нарезала дикого луку и каких-то кореньев, все это смешала вместе и подала на стол.

– Ну а теперь под строганинку, – предложил Иван, снова наливая глиняные чашечки.

Старика гольда он называл дядькой Савоськой и пояснил, что это брат его тестя. Впрочем, и он и Анга называли его то Савоськой, то Чумбокой, как звали старика по-гольдски.

На голове старика торчали редкие седые клочья волос, в уши продеты были серебряные кольца. Кольца же украшали его маленькие пальцы. Говорил он по-русски довольно внятно, даже шутил. Подвыпив, он расстегнул рубаху и с гордостью стал показывать свой нательный медный крестик.

Пирушка у Бердышова продолжалась целый день.

Под вечер небо прояснилось, и на Додьгу с попутным ветром на парусной лодке приплыл сам Иванов тесть со своей молодой женой и сынишкой, тот самый старик Удога, о котором переселенцы много наслышались еще по дороге.

По-русски его звали Григорием Ивановичем. Это был рослый и худой старик с толстой седой косой, с седыми бровями и с черными, как угли, глазами. Серебряные усы он подстригал коротко, как Иван.

Выбравшись из лодки, он с нежностью поцеловал Ангу в обе щеки и, отведя ее в сторонку, потихоньку говорил что-то ласково.

Молодая жена Удоги – веселая, коренастая, широкоплечая гольдка – была одной из тех крепких женщин, которые всякую работу делают не хуже своих мужей. Восемнадцать верст от стойбища Бельго до Додьги она выгребала веслами против течения, помогая ветру. В гости она вырядилась по-праздничному. На ней бледно-розовый шелковый халат, расшитый редкими синими узорами, в которых, если пристально вглядеться, различались очертания птиц, живот-

[25] Тала – мелкостроганая сырая рыба, строганина.

ных и цветов. На маленьких ногах гольдка носила легкие новенькие обутки, сплошь покрытые мелкой вышивкой. Айога – так звали жену Удоги – встретилась с Ангой не как мачеха, а как задушевная подруга. Гольдки обнимались, целовались и, войдя в избу, без умолку разговаривали.

Маленький сынишка Айоги, толстощекий Охэ, послонявшись между взрослыми, сбегал к лодке, достал оттуда лучок со стрелами и побежал в тайгу бить птичек. Вихрастые крестьянские ребята дичились, глядя на него с косогора и не решаясь подойти.

Иван и Удога, разговорившись, то и дело переходили с русского языка на гольдский. Из их беседы мужики поняли, что Бердышов и Савоська долго были где-то на охоте, и Удога, услыхав от проезжих, что они вышли из тайги, сразу поспешил на Додьгу. Мужики заметили, что Савоська и Григорий не выражали восторга по случаю встречи. Егору показалось, что братья относились друг к другу с прохладцей.

С переселенцами Удога держался с достоинством – видно было, что он знает себе цену.

В этот вечер захмелевшие мужики пробеседовали с ним недолго и вскоре после его приезда разошлись.

– Ничего, как будто хорошие люди эти гольды, – говорили они между собой про Удогу и про Савоську.

На другой день оба старика гольда приходили на стан, чтобы попрощаться с переселенцами. Они уезжали в свое стойбище.

Вечером на стан заглянул Бердышов. Сидя у огонька, он рассказывал переселенцам про своего тестя:

– Григорий ведь заслуженный перед начальством. Только теперь везде чиновники новые и про него забывать стали, а раньше, бывало, Григорию Ивановичу был почет.

– Какая же у него заслуга? – спросил Тимошка. – За что?

– Как же! – заговорил Иван с таким видом, словно удивился, что мужики еще не знают про заслугу Удоги. – Ведь в прежнее время Амур был неизвестным. Жили эти гольды, охотились, приезжали к ним маньчжурцы, сильно их грабили и терзали. Наши русские купцы тоже на свой риск и страх привозили товар на меновую. Проходили через хребты. А маньчжурцы – по воде… Вот тут наискосок Мылок, на той стороне, – показал Иван на реку, – была ограда – нойоны жили. Да и те только наездом бывали. Им, сказывают, закон тут жить не дозволял.

– Кешка нам про это рассказывал, – перебил его Силин.

– А ты слушай, чего тебе говорят. Мало ли чего Кешка сказывал, – огрызнулся на него Федор и, состроив внимательное лицо, обернулся к Ивану.

– Когда же этот Амур нашли, – продолжал Бердышов, – и стали проверять, фарватер у него искали, снизу, с Николаевска, приплывали офицеры. Григорий Иванович-то не побоялся нойонов, показал русским фарватер. Потом, когда была Крымская-то война, и у нас на низу была война. По Амуру туда сплавляли войска на баржах на подмогу. Григорий с ними проводником плавал и довел барки в целости до Николаевска. Савоська с ними же плавал, только тому награда была, а заслуги не вышло – он маленько чудаковат, ему не дали заслуги. Потом на другой год они опять плавали. Савоська – тот с родичами еще смолоду поссорился и убежал на море, жил у гиляков. Он с самых первых дней с Невельским ходил, проводничал. Он Невельского-то вверх по Амуру привел и Удогу сговорил помочь экспедиции. Потом уж, вот недавно, как вернулся Амур к Расее, сам губернатор Муравьев назначил Григорию Ивановичу заслугу. Выдали ему казенные сапоги, штаны и мундир с золотыми пуговицами. Это все у него и сейчас в сундуке хранится. А был тут маньчжурец Дыген. Шибко вредный! Он тут прежде сильно безобразничал. А перешел Амур к нам – на Ливане заросла травой вся ограда, и медведи туда повадились колья дергать. Вдруг этот самый Дыген заявляется к нам в Бельго. Тварина же! – с досадой воскликнул Иван, и было видно, что он до сих пор зол на маньчжура. – Как он в старое время донимал этих гольдов!.. И меха у них брал, девок портил, баб, какие понравятся,

к себе таскал, а сам, гадина, кривой, глаза у него гноятся. Посмотреть, так замутит. – Иван сплюнул в костер.

– Ну вот, заявляется он в Бельго: давай, мол, ему по старой памяти меха. А я жил тогда, конечно, у них в деревне. «Ну, говорю, Гриша, открывай сундук, надевай полную форму». Вот вытаскивает он мундир, обрядил я его как следует, берем мы в руки по винтовке и вылезаем оба на берег. Как Дыген увидал мундир да золотые пуговицы – ну, дуй не стой! – подняли на лодке парус и уплыли. Потом, сказывали гольды, он узнал, что это был не русский, и шибко удивился, что простого гольда наши почему-то в такую заслугу произвели. С тех пор в Бельго маньчжур этот не показывается, хотя, слышно, еще и до сих пор бывает он тут по маленьким деревням. Ищет, где народ подурней.

– Да-а, Грише было уважение, – продолжал Иван Карпович после короткого молчания. – Бывало, сам Муравьев едет мимо – сейчас катер к Бельго приваливает, губернатор спрашивает Григория. Григорий Иванович выйдет на берег и рассказывает все, чего хочешь. Невельской, который этот Амур отыскал, Николаевский пост на низу поставил и самый первый дом на нем срубил, тот все с тунгусами да с гиляками водился. И он Григория-то знал. А теперь уже и начальство новое, и люди не те стали, губернатор другой. Про Григория стали забывать. Китаец-лавочник и тот ему уважения не выказывает. Вот седни жаловался он на этого торгаша. Гольды боятся лавочника, как мы исправника: чуть что – на коленки перед ним.

– А скажи-ка ты, Иван Карпыч, – снова полюбопытствовал Тимошка, – почему у гольдов всегда гребут веслами бабы, а мужики сидят в лодке сложа руки? Сегодня плыли они – Савоська у правила, а Григорий сидит, ничего не делает, парень на ворон пялится, а баба за всех робит веслами-то.

– Приметливый же ты, – беззвучно засмеялся Иван. – Это уж верно, так у них заведено. Мужик сидит, ничего не делает, а бабы огребаются. Спросишь: «Эй, чего твоя баба работает, а чего твоя сам даром сидит?» – «А чего, мол, ей… Она греби да греби, – с живостью представил Иван гольда, сощурив глаза и подняв лицо кверху, – а моя, поди, ведь думай надо».

Наталья от души смеялась, слушая Бердышова, смеялись и все остальные бабы и мужики. Видно было, что Иван представляться мастер.

Глава десятая

Цвели желтый зверобой и золотарник, васильки голубели в посохших травах, белые гроздья винограда свешивались с прибрежных кустов. На ранних вырубках розовыми полянами раскинулся иван-чай.

Стояли ясные, сухие дни, и работа у мужиков спорилась. Тайгу быстро оттесняли. Переселенцы работали с утра до ночи.

С приездом Бердышова жизнь на стану несколько оживилась. Каждый вечер Иван Карпыч приходил к шалашам и рассказывал разные истории из здешней жизни. Говорил он много и охотно, признаваясь, что рад побеседовать с русскими людьми, которых все эти годы приходилось ему видеть лишь от случая к случаю.

Впрочем, он не всегда был радушен и приветлив, часто разыгрывал с мужиками разные шутки, пугал их, что может заговорить дерево, и оно не поддастся рубке, или, если захочет, отведет рыбу от невода. То вдруг он становился строг и угрюм, не отвечал толком на расспросы, городил всякую чушь, так что мужикам трудно было разобрать, когда он говорит правду и когда шутит.

Бердышов был человеком сильным и деятельным. Весь его вид говорил об этом. Но если работы у него не было, особенно когда он по нескольку дней отдыхал после охоты, он начинал озорничать.

Как-то под вечер Федор, выйдя из тайги, встретил его на берегу. Иван шел в тени деревьев, опустив низко голову в надвинутой на глаза поярковой шляпе, и глядел себе под ноги. Вокруг него вился рой мошкары.

– Здорово, Федор Кузьмич, – вымолвил он, не доходя до Барабанова шагов на десять и не подымая головы.

– Ты как меня увидел? – удивился Федор.

Бердышов молча шел прямо на него.

– Возьми-ка моих комаров, – махнул он руками, поравнявшись с Барабановым, и отшатнулся в сторону.

Вся туча гнуса перелетела на Федора.

– Э-э-э-эй, да ты что, да на что они мне? – завопил Барабанов, отбиваясь от комарья.

Но Иван уже шел своей дорогой, и только покатые плечи его тряслись от смеха.

– Чудной он какой-то, не поймешь его, – говорили про Бердышова переселенцы. – Надо всем смеется, из всего у него шутки.

– В тайге поживешь, чудной станешь, – оправдывал его Кузнецов, – а он тут уже давно…

– Недаром казаки-то говорили, что у него жена шаманкой была. Это ведь колдунья, шаманка-то. От нее он и перенял, поди, эти выходки. Видишь, какой он переменчивый, то так прикинется, то эдак, не дай бог околдует, – не то на самом деле пугался, не то шутил Тимошка.

– Он и над гольдами, над родичами, и то просмешничает, – утверждал Пахом. – Уж таков человек!

– Того и гляди, боднет лбищем-то. Вот помяни мое слово, он еще натворит нам делов целую контору, – говорил Силин.

В конце июля на Додьгу прибыли казенные баркасы, доставившие на каждую семью переселенцев по коню и по корове. Вместо обещанной муки почему-то привезли зерно. Коровы доились плохо.

– Вот еще новая забота, – горевали мужики, – чем же молоть станем?

Они на все лады ругали Барсукова.

– Лошадь отходим! Выпасется на лугах, – говорил Егор жене. – Какая бы заморенная ни была, а откормится – будет конь. Мы сами пришли заморенные, и кони у нас такие же.

В бормотовской лодке мужики стали возить сено, заготовленное солдатами. Но сена было мало, а трава, стоявшая на лугах, уже превратилась в дудки. Все же пришлось косить ее и возить с острова на берег.

– Как солома, – говорили крестьяне.

Бабы расчистили под грядки малые клочья земли.

Вскоре после отплытия баркасов Бердышов напомнил мужикам, что они обещали ему устроить помочь: расчистить тайгу подле его избы. На другой день переселенцы вышли работать на Иванов участок. Там порубили и пожгли все пеньки и деревья, оставив только несколько лиственниц подле самой Бердышовой избы. Теперь кругом нее чернели пепелища.

В награду за труды Иван по обычаю устроил мужикам пирушку: выставил водки и раздал пуда три вяленой сохатины.

А на бабьих огородах, на целинных влажных землях, под горячим солнцем быстро взошли лук, редька. До осени переселенки надеялись кой-чего вырастить.

Огород был для каждой семьи заветным местечком. Наталье плакать хотелось от радости, когда впервые зазеленели всходы на ее грядках. Лес еще стоял поблизости, тучи комарья туманом зеленели над релкой, но, глядя на такие знакомые, по-старому родные и милые комья черной земли и на стройные рядки лунок с бледно-зелеными ростками, верилось, что будет тут и дом, и пашня, и двор. Хотелось работать еще пуще, и Наталья трудилась не покладая рук и не жалея себя. Это чувство испытывали все переселенцы, и всем работалось в тайге веселей, когда за спиной появились маленькие росчисти.

Вечером после тяжелого труда не было для измученных новоселов большей радости, чем посидеть на огороде и полюбоваться на первую зелень, выращенную среди таежной дичи своими руками.

Иван Карпыч прожил на Додьге недолго. Однажды поутру дверь его избы опять оказалась припертой колом, а его дощатая лодка, обычно лежавшая на песке, исчезла.

– На охоту уехал со своей гольдячкой, – решили переселенцы.

Парни и ребята любили поговорить между собой про зверей, про охоту и про Бердышова.

Побывавши раз-другой у его избы – часто они боялись туда подходить, чураясь гольдки, к которой присматривались с недоумением, – они забыть не могли охотничьи копья, ножи, звериные шкуры, луки, сохатиные окорока.

– Встретить бы мне зверя, я бы его пальнул!.. – мечтал Илюшка.

– Пахом тебе ружье-то не дает, – насмешливо возражал белобрысый Санка Барабанов. – Из чего ты его палить-то станешь?

– Тятя мне дать ружье посулил, ей-ей, посулил, – хвалился Илюшка.

Схватив с песка палку, он, пригнувшись, взбежал на изволок берега и нацелился в черное обгорелое корневище.

– Ка-ак бы я его!.. – И он зажмурился.

– Да-а, Иван Карпыч где-то сейчас промышляет, – задумчиво говорил Петрован Кузнецов. – Вот с ним бы на зверя-то сходить!..

В это лето из ребят, пожалуй, не осталось ни одного, который не собирался бы стать охотником подобно Бердышову.

Их, подросших в тяжелой и длинной сибирской дороге, привлекала жизнь промысловиков, жизнь, полная приключений и опасностей, о которых они много наслышались. И хотя они, дети хлебопашцев, всегда помнили о пашнях, о хлебах, о скоте и хвастались друг перед другом, как и что быстро растет на огороде, но уж тайга все сильней тянула к себе юных амурцев.

Наступил тихий жаркий август; иван-чай стоял в белом пуху, таволожник цвел белым и розовым. На бузине закраснели ягоды. Стрижи летали высоко над релкой. Кончилась малина, созрела голубица.

Вечерами на реке дымились туманы. Ночи стояли безлунные, редкие звезды мерцали красным пламенем, как отдаленные костры. Лишь над Косогорной сопкой на севере, куда не достигали речные туманы, ярко светила Большая Медведица.

Глава одиннадцатая

Наступила осень. Поспели колючие лесные орехи, ползучие растения опутали тайгу, трава посохла, сопки покраснели и пожелтели, обмелела речка Додьга и, утихшая, бежала слабыми ручейками по широкому каменистому ложу.

В тайге стало посуше. Осыпалась голубица, созрела брусника, от нее было красным-красно, словно кто-то рассыпал по траве и во мху бусы. Доходил, синел виноград. Птицы потянулись на юг.

Додьгинская релка понемногу обнажалась, но лес, отступая, еще стоял на ней полосатой темно-белой стеной из берез и лиственниц. На вырубленных полянах торчали пеньки и дыбились корневища.

На берегу подле маленьких огородов достраивались четыре землянки. Обычно в Сибири на новоселье не строили изб. Жизнь переселенцы повсюду начинали одинаково, исподволь, как бы не решаясь окончательно утвердиться до тех пор, пока хорошенько не осмотрятся и не освоятся с местной природой. Землянки не жаль было бы оставить, если место оказалось бы негодным и пришлось опять куда-нибудь переселяться. К тому же постройка избы требовала много труда и времени, а ни того, ни другого мужикам теперь не хватало.

Землянки копали в крутом береге. Это были обширные ямы с установленными вдоль стен досками – остатками плотов. На них настилали крышу, а весь верх заваливали пластами земли. Печки сбивали из сырой глины чекмарями – так называли деревянные молоты, а глину накладывали в дощатые формы на месте будущей печи. Вдоль стен тянулись широкие земляные нары, служившие и сиденьями и кроватями. Землянки были теплы, обширны, освещались маленькими окнами, обращенными к реке.

В конце августа, когда начался ход рыбы, жилища были готовы. Для скота и для коней неподалеку от землянок выкопали ямы, прикрытые срубами с накатником. Поверх наваливались высокие кучи сена. Все селение как бы зарылось в землю, готовясь к суровой ветреной зиме.

С доставкой коров пища стала разнообразнее. Появились творог, сметана и простокваша.

Понемногу осваивались переселенцы с амурской жизнью. Осенью они впервые наблюдали ход красной рыбы – кеты, или, как называли ее тут по-гольдски, давы. Еще по пути на Додьгу они много слышали и от староселов и от казаков о том, что осенью из моря в Амур заходят косяки красной рыбы и идут в горные речки. Но никто из них не верил, что будто бы рыбы этой такое множество, что она, как рассказывал сплавщик Петрован, мешает ходить по реке лодкам.

Пришла кета. По Амуру вверх и вниз засновали гольдские лодчонки с рыбаками и с добычей. Мужики время от времени пробовали ловить рыбу на косе у стана, но удачи им не было. Их короткий невод тянул пять-шесть рыбин. Однажды бабы, ходившие на Додьгу по ягоды, увидали, что на горле Додьгинского озера вода словно закипает от косяков кеты, заходящей в мелкие протоки. В тот же день мужики, распаленные этими рассказами, поплыли на Додьгу с неводом. Ловля и на это раз была неудачной. Неводишко оказался слишком стар; когда его завели и захватили тяжелый косяк, невод разлезся. Вся рыба ушла. Рыболовы пустили в ход палки, багры и стали хватать рыбу кто чем мог.

Кета нравилась переселенцам. Они решили солить ее и сушить, запасать на зиму.

Ход был ранний, кета шла еще не уставшая, жирная и толстая, отливала серебром. По крутым рыбьим бокам – багровые и лиловые разводья. Мужики в толк не брали, что за пятна на кете[26].

[26] Эти пятна – брачный наряд кеты, идущей осенью в горные речки на икромет.

– Идет она во множестве, толпой, верно, и колотится друг об дружку до синяков, – предположил быстрый на всякие соображения Федор.

Однажды поутру, выйдя из своей землянки, Егор увидел, что на песчаной косе, выступившей из-под спадавшей воды как раз против его жилья, под берегом, какие-то гольды ловят большим неводом рыбу.

Было пасмурно и ветрено. Слабые волны лениво набегали на косу. Казалось, вся природа озябла и сжалась за ночь от сырости и холода. На песке стоял голоногий парень в коротких, выше колен, штанах и держал в руке «пятовой» конец невода. Лодка с гребцами, описав по реке полукруг и ведя «забегной» – передний конец невода, поспешно возвращалась к пескам, как бы стягивая плавучую дугу из частых поплавков.

«Рыбачат под моим берегом без спроса», – подумал Егор.

Гольдская лодка подошла к берегу. Один из рыбаков, ежась, побежал по песку к стогу. Приблизившись, он стал хватать сено пучками и совать за пазуху. Он, видно, промок, замерз и хотел согреться. Егору показалось, что от стога, который накануне привез он с острова, чуть не половина убыла. «Под моим берегом рыбачат без спроса да еще берут сено. На чужом месте хозяйничают!»

Мужик обозлился на рыбаков, как только может обозлиться человек, давно уже не ссорившийся ни с кем, накопивший в себе много разных обид и вдруг решивший все их выместить. Ему и в голову не пришло, что гольды от века каждую осень ловят рыбу у додьгинских кос, а что такое сено и зачем оно нужно, не знают, и что тут никакого посягательства на его права не было и быть не может. Но таково уж свойство новосела – полагать началом жизни в новом краю лишь тот день, когда он сам приехал.

Можно было подумать, что Егору никто не чинил такой большой обиды, так он разозлился. Гольды в этот миг казались бог весть какими злодеями. Да тут и впрямь можно было посердиться и выказать свои права. Как слыхали мужики, гольды были народом смирным и незлобивым, так что обидней всего стало Егору, что именно они, не спросясь, завладели его берегом. Будь это русские мужики или солдаты и нанеси они Егору обиду пожесточе, он стерпел бы. Оно и понятно: обижал бы тот, от кого не в диковину сносить обиды. А тут вдруг… Этого стерпеть никак нельзя.

Егор выбрал подходящий кол и, вооружившись им, скинул бродни, подсучил портки и побрел через заводь к пескам.

Гольды вылезли на берег и с короткими оживленными возгласами бойко перебирали веревку, вытягивая невод на косу. Было заметно, что тянут они порядочную тяжесть.

Егор тут заметил, что пучки сена подвязаны зачем-то на подборах невода.

Вдруг вода ожила, забурлила валами. Огромные голубовато-серебристые рыбины с шумом заплескались на мели и наперебой запрыгали из воды, пытаясь выскочить из невода. Мелькали бьющиеся хвосты, пасти с зубами и пятнистые бока. Рыбы было так много, что у Егора зарябило в глазах.

Гольды стали бить кету веслами по головам и закрывать ее сверху широким неводом. За косой, к которой они тянули невод, были мелкие заводи и широкие лужи; некоторые бойкие рыбы пытались по ним бежать. Одна жирная и грузная кетина, всплескивая воду сильными ударами хвоста, промчалась мимо Егора, выбралась на узенькую кошку, отделявшую лужу от реки, и, быстро толкаясь хвостом и карабкаясь плавниками, пыталась перебраться по мокрому песку; сгибаясь то так, то этак, она словно оглядывалась, опасаясь, что гольд догонит и хватит ее веслом.

– Эй, уходи отсюда! – крикнул Кузнецов, приближаясь к рыбакам.

Но они либо не обращали на него внимания, либо не слышали его слов за ветром и за работой. Нестарый гольд в меховой шапке, двое парней в халатах из рыбьей кожи и девчонка выбирали рыбу из невода. Ловко хватая кету за хвосты, гольды раскачивали ее и бросали в

длинную и широкую лодку, до половины нагруженную вздрагивающей серебристо-лиловой рыбой.

На корме сидела патлатая, толстощекая, румяная гольдка. Она била неспокойных рыб веслом, чтобы поскорее засыпали. Одна кета перепрыгнула борт лодки уже после того, как женщина ударила ее.

Вдруг, к изумлению Егора, гольдка подняла за жабры небольшую рыбу, разгрызла ей голову и, присосавшись, зачмокала, морщась от удовольствия.

«Что делает? Живую рыбу жрет!» – подумал Кузнецов и решительно подступил к рыбакам, еще более на них озлобившись.

– Проваливай с этого места! – крикнул он погромче, обращаясь к старшему гольду, перебиравшему мокрый невод.

Тот разогнулся и посмотрел удивленно. У него было плоское лицо, словно вдавленное у переносицы, и выпуклый лоб.

Кузнецов подскочил к нему, вырвал невод и толкнул гольда в плечо по направлению лодки.

– Отъезжай, чтобы тут духу твоего не было! Наловил – и дуй отсюда! Не твое место!

Рыбак упирался и что-то с чувством говорил, тыча себя пальцем в грудь и показывая на берег. Опутанная упавшим неводом, всплескивалась невыбранная рыба. Парни, опустив руки, стояли в нерешительности, поглядывая на Егора. Проворная девчонка забралась в лодку и, примостившись на корме, казалась довольно спокойной, должно быть полагая себя в безопасности подле матери.

Гольд снял шапку, обнажив высокий лоб. Улыбнувшись, он заморгал. Маленькие руки его доверчиво потянулись к неводу.

– Ступай, ступай! Нечего балясы точить! – выразительно махнул рукой Кузнецов. – А то нашел где рыбачить! На чужом месте. Много вас найдется!..

Гольд наконец рассердился. Его маленькие черные глаза сделались острыми и забегали в косых прорезях. Он закричал тонко и пронзительно.

– Да ты что это? – рассердился Егор, подымая палку. – Говорят тебе, улепетывай и больше сюда не ходи!

Гольд побрел, опустив голову и что-то бормоча. Девчонка закричала, прижавшись к матери.

Егор последовал за гольдом и, добравшись до лодки, с силой оттолкнул ее.

Лодка отошла. Рыбак догнал ее по воде, а парни побежали вброд через заводь.

На косе остался невод – грубая, крепкая снасть, широкая и длинная, искусно свитая из травы. Поплавки были сделаны из коры уже знакомого Егору бархатного дерева и из свитков бересты, а похожие на маленькие кирпичики грузила – из мастерски обожженной красной и белой глины.

Шум у реки привлек внимание всех жителей поселья.

Все переселенцы вышли из землянок на берег. К Егору, хлюпая по холодным лужам, подбежали разутые Федюшка и Санка.

– Ах, Егор, Егор, ты чего же это наделал?! – с укоризной вымолвила, подходя к мужу, босая Наталья. – Зачем невод отнял? Они, верно, не понимают, что у нас сено накошено. Зря ты!..

Ребятишки стали выбирать из невода оставшуюся рыбу.

– Чего зря! – со злом воскликнул Федор. – Пусть-ка знают, как рыбачить на чужом берегу! Нет, родимые! – с восторгом победителя орал Барабанов, грозя кулаком гольдской лодке, качавшейся в отдалении на волнах. Видно было, как волны разбивались о ее нос и вихрями брызг обдавали борта. – Не тут-то было, теперь без невода-то попробуй порыбачить! Поделом, поделом тебе! – кричал Федор.

– Невод-то широкий, – говорил Тимошка. – Таким ловко рыбачить. Гляди, какой! Теперь понятно, почему у нас не ловилась.

Дед Кондрат в подсученных штанах бродил вокруг, осматривая туземную снасть.

– Смотри ты, какая работа! – говорил он Пахому. – И то правда, каждая пичужка своим носком кормится.

– У них, Иван сказывал, коров нет, – твердила Наталья, – рыба да рыба, а больше им и есть нечего. А ты отнял невод. Зачем так обошелся?

– Между соседями чего не бывает, – отвечал Егор. – Теперь про сено знать будут.

Ему хотелось оправдаться перед детьми. Не желал он, чтобы они научились обижать людей, вот так вот отбирать, что придется.

– Тятька сено косил, старался, он за это сено, мамка! Ты бы щи варила, а пришли бы чужие и съели.

– А они рыбу ловили, а он забрал… – ответила мать.

Васька помутнел взором и косо взглянул на отца.

Глава двенадцатая

Мужики, занятые постройкой землянок, никак не могли собраться вместе порыбачить. Тем временем невод висел без дела.

Возвратившись на Додьгу, Иван Бердышов ни разу не спросил Кузнецова, где тот взял невод туземной работы. Бывало, пройдет мимо коряг, покосится на растянутый бредень, потом на Егора, и только густая бровь у него дрогнет, но он ни словом не обмолвится. И Егор молчал.

«Хитрый! – думал Егор. – Молчком хочет все узнать. Чует… Он тут как хозяин».

Федор впоследствии рассказал Бердышову, что Кузнецов отобрал невод у рыбаков, но Иван никак не отозвался о таком поступке соседа и опять смолчал, словно не слышал ничего. Барабанов немало этому дивился. Он привык, что люди охотно слушают сплетни про соседей и осуждают их непременно. Впрочем, он поведал про это не со зла на Егора, а из простого желания позабавить чем-нибудь Ивана Карпыча. Но тот никакого удовольствия не выказал, даже обидно было Федору.

Иван и Анга по приезде домой занялись ловлей кеты на зиму. Вдвоем им трудно было управляться с большим неводом. Со своими гольдскими родичами Иван почему-то не хотел рыбачить. Крестьяне в помощь им посылали ребятишек. Илья, Санка, Петрован работали у Ивана, гребли в лодке, тянули невод, возили рыбу. Бердышов обучал их обращаться с неводом. За работу он роздал им лодку рыбы.

– Не даром робили у Ивана, – говорили мужики.

Лишь часть рыбы засолили они на зиму. Но соли было в обрез. Кету, добытую палками и руками, вялили на ветру. Бердышовы из части своей добычи готовили юколу. У Ивана налажены были длинные вешала из нескольких рядов жердей. Анга пластала рыб ножом и вешала их сушить. Жабры и внутренности рыб она выбрасывала собакам. Жерди, унизанные красными комьями кетового мяса, прогибались от тяжести. Когда ветер тянул снизу, от вешал разило гнильем. В жаркие дни рыбу дочерна облепляли мухи.

– Зачем тебе столько рыбы, Иван Карпыч? – полюбопытствовал Тимоха Силин. – Разве ты такой постник?

– Как же, паря Тимша, я шибко богомольный! – отвечал Бердышов. – Да и собак кормить чем-то надо.

Тимоха уж и сам догадывался, что это корм для собак, что для своих страшных псин готовит его Иван.

– Так ты для собак? А я думал, сам все съешь и зубы сотрешь жевавши.

– Что получше – отдам собакам, а остатки сам догрызу. А ты становись на четвереньки, сунь пасть в реку и цеди. Рыба сама полезет. Сквозь зубы Амур процедишь, рыбу всю сжуешь – и голодный останешься.

Смущенный Тимоха приумолк. Иван за словом в карман не лез.

– А у тебя пошто, Иван Карпыч, собак так много? – спросил однажды соседа дед Кондрат.

– Разве это собаки? – удивился Бердышов и, подмигнув, добавил: – Это кони, паря дедка.

Кондрат ничего не сказал Бердышову, но принял ответ за насмешку и насупился. «Завидует, что нам коней доставили!» – решил он.

Дед запомнил, что Иван ему ответил, и как-то пожаловался на него сыну.

– Он, батюшка, верно тебе сказал. Ведь зимами тут ездят на собаках, вот они ему как кони, – ответил Егор. – Али ты не видал, как по Енисею инородцы нартами ходили?

– Тебе бы, Иван, настоящего коня завести, – сказал дед Бердышову в другой раз, – хозяйство поставить, скотина чтобы была…

– Будет время, однако, обзаведемся, – ответил Бердышов. – Я прошлый год брал коня, да сплавил его в Тамбовку.

Брал он у казны и корову и тоже продал переселенцам, потому что ходить за ней было некому. Анга, бесстрашно охотившаяся на зверей, побаивалась домашней скотины. А Ивану, как на грех, досталась такая бодучая корова из диковатых бурятских забайкалок, что с ней не было никакого сладу. Гольды считали дойку делом неприличным.

– Как тебе не стыдно? – говорили они и смеялись.

Сначала Иван сам доил корову, потом, когда Анга привыкла к ней, Ивану приходилось стоять тут же настороже. Да еще сначала гольдка просила мужа, чтобы он держал ружье наготове. Но когда Бердышовы уходили на промысел вместе, коня и корову не на кого было оставлять.

Хотелось Ивану и пашню пахать, и хозяйство завести. Деньжата у него были, он мог купить и коня и скотину. Но не торопился – он хотел, чтобы жена его сначала обжилась подле русских и переняла от них умение вести хозяйство и ходить за скотом.

Анге и самой хотелось поскорей стать русской, чтобы Иван не стыдился ее. Она проявляла любопытство ко всему, что делали переселенки, и живо все перенимала. Она училась говорить по-русски, выказывая в этом редкую способность.

Когда в землянках не было еще печей, бабы пекли хлеба в бердышовской избе. Глядя на них, и Анга стала стряпать калачи и подовые пироги с ягодами. А раньше, кроме пресных лепешек, делать ничего не умела.

Ягоды на Додьге было много. В конце июня, когда приплыли переселенцы, в тайге созрела смородина и малина, вскоре на деревьях зачернела черемуха, которую бабы сушили и толкли, а потом стряпали из нее сладковатые пирожки. По осени на лесных полянах синела опавшая голубица. На болотах, за Додьгинским озером, во мхах понемногу доходила клюква.

На Додьге Анга показала бабам место, где у воды на глинистом берегу в изобилии вился по деревьям дикий виноград, а в трущобе на пойме все шиповники и орешники были переплетены «кишмишом»[27] со сладкими длинными сахаристыми зелеными плодами.

Когда начался ход кеты, к селению стали подходить звери.

– Ты остерегайся, когда за ягодой ходишь, – наказывал Егор жене. – Медведи в эту пору выходят из лесов ловить рыбу. Не дай бог, встретишься!

Коровники на ночь закрывали на запоры. Ребятишкам велено было в тайгу не ходить.

Как-то раз испуганная Агафья Барабанова прибежала домой.

– Федор, вставай-ка, – тормошила она мужа. – Я медведя встретила. Корова-то вышла… Кабы не подрал…

Федор не сразу сообразил, что ему толкует жена.

Последние дни Барабанов заленился. Землянку он сделал, а для коня и для коровы рядом с ней выкопал как бы вторую комнату, отгороженную от жилья толстыми досками. Обе были под одной крышей из накатника с землей. Главное, чтобы можно было зимовать, Федор сделал, а до остального не доходили руки. Забота о жилье и о скотине – самая тревожная из забот – отпала, и Федор вдруг почувствовал смертельную усталость. И хотя работы еще хватало, но браться ни за что не хотелось. Сказалась наконец усталость от долгого сибирского пути.

– Федор, а Федор! – Сильной рукой Агафья потянула мужа за плечо.

Он нехотя поднялся на лавке и с ожесточением схватил себя за подбородок, словно собирался вырвать жидкую бороденку.

– Слышь ты, да ты одурел, что ли? Продери глаза-то… Ступай, кликни Бормотовых али Ивана ли Карпыча, будет тебе валяться: медведь у стана.

– Медведь? – Федор вытаращил свои маленькие глаза и стал живо обуваться.

– Ощерился пастью-то да ка-ак фыркнет!.. Встретился-то, будь он неладный!..

[27] Кишмиш – так переселенцы на Амуре называли плоды лиан.

Федор схватил ружье, заткнул топор за пояс и без шапки побежал к Бердышову. По дороге он выпалил из ружья.

– Ты что это? – спросил Егор, точивший у своей землянки топор на круглом камне.

– Беда, Кондратьич, медведь чуть Агафью не подрал! – сказал Федор. – Пойдем к Ивану скорей.

Бердышов, услыхав, что к озеру вышел зверь, снял со стены ружье. Егор пришел с рогатиной – он сделал ее накануне, насадил железное острие на палку, собираясь «воевать» с медведями.

– А почему ты, Иван, не берешь штуцера? – спросил Егор. – Ведь он бьет дальше, чем кремневка?

– По привычке старое ружье таскаю.

– Плохи, что ль, новые?

– Нет. Но я все думаю: неужели хуже охотником стал? Хороший охотник должен уметь из плохого ружья взять зверя. Гольды говорят, самое лучшее – пороть медведя рогатиной, а еще лучше ножом. Я тоже думаю, кто к хорошему оружию привыкнет, будет трус.

Пока мужики собирались, барабановская корова сама прибежала на берег к своей землянке.

Барабанов успокоился, сходил домой, взял сошки, чтобы удобней было стрелять, и впопыхах позабытую шапку.

– Рыба есть, теперь мясо надо заготовить на зиму, – говорил Иван.

– Медвежьего-то, – подтвердил Федор.

– У гольдов обычай: про медведей не говорить, слово «медведь» не произносить. Ночью про медведей не поминают, а то задерет. А мы орем: «Медведь, медведь!..»

Мужики отправились к озеру напрямик через релку, чтобы оттуда идти на Додьгу. Едва вошли они в лес, как сзади послышался топот. Вдогонку охотникам бежал Пахом Бормотов с ружьем. В последнюю минуту и он решил идти на медведя.

– Медвежатничал? – спросил его Иван.

– Приводил Господь!

Спустившись к озеру, охотники увидели на песках частые медвежьи следы, шедшие в разных направлениях вдоль берега.

Иван повел их налево, к устью речки, стараясь держаться под зарослями.

– Вон мишка-то лакомился, – показал он на красноватые кустарники, обрызганные звериною слюной, – загребал лапами и, паря, посасывал.

В голосе Бердышова, как и обычно, когда он говорил про зверей, слышались и умильное любование медведем, и дружеская насмешка над его привычками.

След привел охотников к одному из рукавов Додьги. Речка обмелела и притихла. Течение несло красные и желтые листья. Из-под спавшей воды выступило широкое каменистое русло. За галькой на берегах стоял густой елово-лиственный лес, а под сухим подмытым берегом торчали во множестве корни деревьев. Вся тайга, вместе с подлеском и с тонким слоем перегноя, стоявшая на белом песке, была видна как бы в разрезе. Отяжелевшие синие грозди мелкого винограда свешивались с оголенных прибрежных побегов.

В воздухе с криками летали чайки и коршуны. В прозрачной зеленой воде вверх по течению стайками пробиралась кета. На камнях поток змеил изображение рыб, как в кривом зеркале.

– Вот лиса рыбачила, – пнул Иван зубастую рыбью голову. – Сейчас все – и звери и птицы – жрут эту красную рыбу почем зря.

На камнях повсюду виднелись гнившие остатки рыб, выловленных птицами и животными.

– Первые-то дни эта рыба была жирная, а нынче отощала, – заметил Егор, – горб у нее растет, зубья она скалит, нос крючком стал.

– Ход оканчивается, – ответил Иван. – Рыба эта из моря идет и всю дорогу не жрет ничего. Последняя самая отощалая идет. Сейчас она голодная, злая. Вон, гляди-ка, разодрались. – Иван показал на брызги в речке.

Горбатые, ослабевшие рыбины плескались на мели, хватая друг друга зубастыми пастями. Иван поднял с песка палку и ткнул их.

– Злая эта кета, вон как хватается, аж кожа летит. По речке на самый верх заберется, там икру вымечет, закопает ее в песок, в ямки. После этого станет больна. Одуреет зубатка, стоит, уткнувшись мордой в берег, помирать собралась. Трогай ее – она не шевельнется.

– Она уж и сейчас заблужденная идет. Кому не лень, всякий ее схватит, – заметил Пахом.

– Мишка-то, однако, где-нибудь этой же давой промышляет, – проговорил Бердышов.

Он вдруг приумолк и стал внимательно озираться по сторонам.

– Неужто вся эта рыба сдохнет? – спросил Егор.

– Вся пропадает. Молодь выйдет из икринок, ее унесет водой в море, а вырастет – опять к нам же придет. Гольды говорят, что каждая рыба свою речку знает.

– И потом опять вся передохнет? – с изумлением спросил Пахом.

– Опять, паря.

– Какое богатство! Вот бы в Расею его!..

– И тут найдется куда девать… Ну, братцы, тихо. Эвон Михайло-то Иваныч!

Зверь сидел в отдалении, посреди шумного потока, на корневище затонувшей лесины и ловил рыбу. Оскалив пасть, он водил мордой над водой. Высмотрев добычу, хватал ее когтистой лапой и подкладывал под себя. Меж косматых задних лап зверя видны были головы наловленной рыбы. Он так увлекся своим занятием, что не учуял охотников, кравшихся за стволами деревьев. Один раз, запустив лапу в воду, медведь потерял равновесие и приподнялся. Мокрые рыбы, лежавшие под его задом, соскользнули с коряги и повалились в речку. Течение унесло их. Медведь, усевшись снова, почувствовал, что под ним ничего нет. Он забеспокоился, поднялся на задних лапах и заглянул под себя. Рыб не было. Медведь, глянув вокруг себя вправо, влево, стал крутиться на коряге и вдруг заревел тонко и жалобно, поднявши морду кверху.

Бердышов выстрелил. Дрогнул тяжелый воздух. Подскочив на лету, словно его перекинуло воздушной волной, испуганно закричал коршун-рыболов и скорей полетел прочь. Медведь громко заревел и, схватившись лапой за морду, как человек, которого ударили по лицу, покачнулся. Не устояв на мокрой лесине, он грузно бултыхнулся в реку и с ревом кинулся было бежать по воде, но лапы его подкосились, зверь вдруг осел и повалился на бок. Вода валом забила через него, как через плавниковую лесину, обросшую водорослями.

Мужики забрели в Дольгу и вытащили медведя на берег.

– Третьяк[28], – определил Иван. – Отъелся за лето, как купец.

Егор вырубил толстую березовую палку. Лапы зверя перевязали попарно, просунули жердь под узлы. Егор и Пахом подняли тушу вверх ногами, взвалили ее на плечи и отправились в поселье.

– Как он орал-то ребячьим голосом, жалко же ему добычи стало, – говорил Бердышов, идя позади мужиков.

– Много же тут этих медведей. Скотину шибко охранять надо, – рассуждал Егор.

– Зато волков нет, – возразил Иван. – А этот к поселью редко придет, ему в тайге достает чем кормиться. Вот тигра уж ежели повадится, то будет горе-гореваньице. Хищная, пропастина!..

– Бывает тут и тигра?

[28] То есть трехгодовалый медведь.

– Редко заходит, но случается. Гольды ее не стреляют – боятся. Она ежели к кому пристанет – не отвяжется.

Берегом Додьги охотники вышли обратно к озеру. Впереди шел Федор с ружьем, за ним Егор и Пахом несли тушу зверя. Иван замыкал шествие.

– Ээ, гляди-ка, это кто еще на озере? – вдруг воскликнул Барабанов.

От устья главного русла Додьги саблей искрилась белоснежная длинная коса, за ней в даль озера потянулись небольшие острова-отмели. На одном из них сидели два черных медведя. Издали их можно было принять за людей.

– Туда шли, как мы их не увидали? – изумился Пахом.

До медведей было далеко, выстрелом не достать. Мужики, положив тушу на траву, разом закричали, стараясь вспугнуть зверей. Но медведи продолжали сидеть, изредка ворочая головами.

Так и не удалось мужикам полюбоваться бегством испуганных зверей; снова взвалив добычу на плечи, они двинулись домой.

Дома зверя освежевали и поделили на части между всеми переселенцами. Иван рубил медвежатину и, раздавая куски, наказывал, когда мясо будет съедено, вернуть все кости.

– На что тебе кости? – спросил Федор.

– Надо. Да ты не забудь…

– Кости мне ни к чему, – с оттенком обиды сказал Барабанов.

– С костей не разбогатеешь, а беду наживешь, – подтвердил Бердышов. – Да смотри, круто зверятину не соли, а то другой раз медведь злой будет.

Егор, подумавший, что Иван шутит, принес домой мясо и позабыл передать жене его наказ. На обед бабы наварили щей и нажарили медвежатины с диким луком. Зверь попался молодой, и все досыта наелись.

После обеда Наталья выбросила полную тарелку костей собакам. А на другой день дочка Кузнецовых Настя, опрометью пробегая мимо отца, кряжевавшего лесину подле огорода, испуганно и злорадно крикнула ему:

– Ага, тятька, попался! – и, сверкая пятками, помчалась к землянке.

Вскоре оттуда появилась Наталья. Настька спешила за ней.

– Какие с нас кости Иванова баба просит? – спросила мужа Наталья.

Егор вспомнил и рассказал.

– Будь они неладны с причудами-то! Вот дочка прибежала и орет в голос, что Анга велит кости отдать, а то, мол, тебя зверь погубит.

– Собаки-то грызли, а Иванова тетка видела. Она говорит, если костей не отдашь, то и Ивана и тебя, обоих вас, медведь задерет, – прерывающимся голосом выговорила Настька.

– Слушай их, дочка, больше! – молвил Егор. – Это Иван шутит…

Глаза у девочки прояснели.

Бабы собрали оставшиеся кости и отнесли Анге, недоумевая, зачем они ей понадобились.

Потом уж Иван, посмеиваясь, признался, что, по здешним понятиям, съевши медвежье мясо, следует кости зверя закоптить и снести в тайгу.

– Этим он как бы отпускается обратно, чтобы еще раз нагулял мяса и приходил опять. Так тут гольды понимают, – объяснил Иван. – Уж такой обычай… Я о вас же беспокоился.

– Да-а… Ишь ты! – удивлялись мужики, опять не беря в толк, дурит Иван или сам верит. – Еще раз чтобы… А коптить-то зачем?

– А коптить-то – это, однако, вроде как шкуру обратно на него надевают.

Бердышов смотрел хитро, но не улыбался.

– Охотники! Конечно, может быть, и есть у них такой обычай, – сказал Егор, когда Бердышов ушел. – А может, и чудит Иван.

Все эти разговоры про здешние обычаи и про разное колдовство шаманов и шаманок ему не очень нравились: он опасался, что Иван сам не верит. В то же время Егор старался найти свое место всякому здешнему понятию.

– Как-никак, а без ружья, Кондратьич, тут не прокормишься, – говорил Федор. – Надо бы и тебе винтовку купить, вместе бы на зверей зимой пошли.

– Надо бы, конечно, – задумчиво соглашался Егор.

Он понимал, что охота тут будет большим подспорьем.

Но сам он шел на Амур за землицей, а не зверей ловить, и здешний порядок жизни перенимать не хотел и поддаваться никому из-за охоты не собирался. Становиться охотником он не желал. Он даже ружья не купил, хоть и мог бы сделать это, если собрал бы все гроши и поднатужился.

Он шел в Сибирь землю пахать и сеять и без своего хлеба не представлял жизни ни для себя, ни для детей, когда они подрастут. По его мнению, охотник был чем-то вроде бродяги, если у него нет пашни.

А Егор хотел осесть на новом месте крепко, прочно, трудом своим доказать, что он не боится, что не на кисельные берега и не на соболей надеялся, когда шел сюда. Он даже радовался, что рубит такой густой лес и корчует такие пеньки.

Он не был суеверен, не признавал ни леших, ни ведьм, ни чертей, не был и набожен, хотя и молился. Но казалось ему, что чем больше тут положит он сил, чем трудней ему будет, тем лучше будет жить его род, поэтому не жалел он себя. Он желал подать пример и другим людям, как тут можно жить.

«Конечно, почему бы и не поохотиться на досуге? – думал он. – Здесь в самом деле грехом было бы не ловить зверей, если они сами подходят чуть не к избе».

Но бегать за ними и надеяться детей прокормить промыслом он считал позором. В жизни, полагал он, хорошо можно делать только одно дело, хотя бы и другие удавались.

Несмотря на большую бороду, Егор был еще молод: ему недавно перевалило за тридцать – он женился рано, – и он со всей страстью хотел потрудиться.

Глава тринадцатая

С каждым днем все холоднее и злее становились ветры. На реке день и ночь бушевали седые валы, омывая песчаные косы.

Еще в сентябре на сопках появилась осенняя желтизна. Ветры гнали из тайги шелестящие вороха красных и желтых листьев. В октябре ударили первые морозы, выпал обильный снег.

На реке появились ледяные забереги; сопки побелели, и река между ними казалась огромным черным озером. Вскоре шуга зашуршала о забереги, и даже в сильные ветры волн на реке не стало.

Погода стояла переменчивая: то начиналась заверть – снегопад с диким крутящим ветром, снегом застилало лес и реку, видны были только кромки заберегов и черные окраины вод; то день выдавался тихий, из тумана проглядывало солнце, а в воздухе стоял по-морскому сырой амурский холод.

Исподволь наступала зима. Бердышов предсказал, что первая половина ее будет пурживая и падут глубокие снега. Сам он после хода кеты иногда уходил с собаками белковать на ближние горы в кедровники. Жена его, оставаясь дома, чинила зимнюю одежду, делала меховые обутки, самоловы на зверей, готовила оружие к зимнему промыслу, вытачивая железные наконечники для стрел и копий.

Кузнецовы заканчивали устройство зимовки для коня и коровы. Около своей землянки, большой, просторной, они выкопали в береге широкую яму, укрепили в ней стены жердями и перегородили надвое. Сверху закрыли накатником и дерном, устроили вход с деревянными задвижками, чтобы зверь не подобрался ночью.

Наталью и бабку заботила Буренка. Корова была нестарая и смирная, но либо как следует не раздоенная, либо испорченная: молока давала мало, так что не хватало ребятишкам, а один сосок совсем не доился. Наталья предполагала, что вымя запустили на барже, где за коровами нехотя ухаживали каторжанки.

Наталья следила за выменем, старательно раздаивала, надеялась оживить сосок. Старуха прикладывала к вымени припарки.

Ударили трескучие морозы. Встал Амур. Над его широкими торосистыми просторами мели сухие леденящие юго-западные ветры. Дни установились солнечные и жгучеморозные. Тоска брала Наталью, когда поутру глядела она из своего маленького оконца на ледяную долину реки. Еще по осени время от времени, весело посвистывая, проплывали мимо поселья пароходы, шли баркасы, везли товары, сплавлялись запоздалые баржи; солдаты и кандальники пели над тихим Амуром заунывные родные песни.

Теперь за окном была безлюдная снежная пустыня; редко-редко промчится под черными обрывами дальнего берега гольд в длинных низких санях, запряженных собаками.

Наталья старалась не смотреть на реку. Страшная стужа, казалось, сожжет, заглушит все живое. Идет зима, нет у семьи ни муки, ни молока, и даже ружья нет у Егора. Мало теплой одежды: все износилось, изорвалось, надо бы делать новое.

Наталья кляла казну: словно в насмешку, доставили зерно. А как его молоть? Но женщина не смела опускать руки. Она знала: если отступится, все погибнут.

Хлеб, муку и зерно крестьяне тратили понемногу. Мука почти у всех кончалась, а ручных жерновов у переселенцев не было. Надо было подумать, как молоть доставленное на барках зерно.

Егор наладил ручную мельницу: он выпилил из крепкой лиственничной чурки пару одинаковых кругляшей, набил в них осколки изломанного чугуна, выдолбил желобки и приделал ручку. Ребятишки глаз с отца не сводили. Между кругляшами, как между жерновами, перемалывалось зерно. Егор молоть обучил ребят. Работали Петрован, Настя и Васютка. Чтобы

приготовить муки на квашню, ребятишкам приходилось ворочать деревянные жернова целый день.

Как ни дорога была мука, а Наталья решила делать корове болтушку.

Каждое утро по морозу шла она в коровник, разгребала глубокие снега деревянной лопатой. Буренка мычала радостно, чувствуя, что сквозь сугробы пробивается к ней хозяйка, несет корм. Открывалась дверь. Жаркий мокрый воздух с запахом навоза ударял в нос.

Наталья гладила корову, чистила ее бока в грязных завитках шерсти, садилась у вымени и, вытирая его насухо, трогала соски. Молоко струйками ударяло в подойник.

Вдруг она заметила, что из глухого соска также сочатся капли молока, едва надавишь и оттянешь его пальцами. Вот и ударило струйкой, с визгом.

Радость охватила женщину. Сосок раздаивался! Боже ты мой! Неужели корова выправится?

Васька и Настя выгребали навоз, стелили корове сухую траву. Петрован за перегородкой ссорился с Саврасым. Наталья, идя домой, взглянула на реку – ледяная пустыня уже не пугала ее сегодня так, как прежде: ведь корова-то молока прибавила!

С каждым днем корова стала давать больше молока. По утрам Наталья приносила дымящийся подойник. Ребятишки наедались досыта, и взрослым стало хватать.

Темнело рано. Дети долго рассказывали сказки, потом укладывались спать. Шумел ветер в лесу. Женщины чинили одежду при свете лучины.

Детям кажется, что теперь ничего не страшно: есть жилье теплое, ветер не продует, есть зерно, молоко… Корова в тепле. Такой ветер и стужа, а отец закрыл ее, завалил крышу. Ребятам представляется, что корове и коню в эту холодную злую полночь так же тепло и уютно, как им самим. Они тесней жмутся друг к другу.

Однажды утром девчонка Бормотовых принесла Наталье свежего мяса.

Накануне Пахом Бормотов с Илюшкой повстречали на опушке чащи имана. Козел прибежал из тайги, по-видимому спасаясь от преследования хищников. Бормотовы погнались за ним на лыжах. Иман вяз в сугробах, дырявил наст, оставляя на нем кровавые следы. Ноги его были изранены, он убегал медленно, и охотники догнали и убили его неподалеку от поселья.

Бормотовы часто похаживали в тайгу на поиски зверя. Пахом оказался запасливей других переселенцев. Всю дорогу он питался Христовым именем и сберег часть ссуды. Летом на Шилке он сторговал себе у казаков три пары охотничьих лыж, подбитых коровятиной[29], а еще под Красноярском у кузнецов взял самодельную сибирскую винтовку. Из дому он привез свое старое кремневое ружье. Ночами Илюшка рубил свинец и катал картечки, заготовляя охотничий запас.

Следом за Бормотовым в тайгу потянулся Федор Барабанов. Он собирался заняться охотой по-настоящему. На родине он ловил лисиц и рысей, ружьишко у него было. Иван отдал ему свои старые лыжи, и Барабанов бегал на них к Додьге проверять поставленные на лисиц ловушки, разбрасывал приманки тем же способом, как это делали охотники на Каме, ходил с собакой белковать на ближние горы, в кедровник.

– А куда будешь продавать добычу? – спрашивал Егор соседа.

– Весной на баркас.

* * *

– Федор, а Федор, – приставала Агафья, когда муж приходил домой, – мука-то кончается, намолоть бы хоть для ребятишек.

[29] То есть коровьей кожей.

У Барабановых запас муки окончился, и они пробавлялись размолотым зерном, из бережливости подмешивая в него толченых сухих гнилушек.

Как ни раскидывал Федор умом, приходилось открывать следующий мешок с зерном.

– Федор, так как же?

Руки опускались у Барабанова. Каждый день приносил ему новые печали и заботы, новый ущерб, а прибыли с самого приезда еще ниоткуда не было.

Однажды Федор попробовал подговорить Бердышова взять его с собой в тайгу на соболиный промысел.

– Однако, это дело не пойдет, – насмешливо возразил ему Иван Карпыч. – Ходи ко мне, смотри, как я ловушку лажу, а уж в тайгу вместе не пойдем – это ведь зверованье, а не ковонибудь! – вымолвил он, состроив суровое лицо, такое же таинственное и непонятное, как и то, что он сказал.

Свое «зверованье» Иван держал в тайне. Никто не знал, когда он уходит на охоту. Только свежая лыжня на снегу указывала направление его пути.

Обычно он пропадал на несколько дней, потом так же неожиданно появлялся поутру в поселье. Иногда исчезала вместе с ним и Анга. По его неясным рассказам выходило, что и она была первейшая охотница и меткий стрелок.

* * *

В свободное от охоты время Иван частенько заходил к Кузнецовым. Покуривая трубочку, сидел он в теплой землянке и, посмеиваясь, выслушивал суждения переселенцев об амурской стороне.

– Здешняя рыба против расейской вкусом выдает, – говорил Тимоха.

– Это только кажется! – отзывался Егор.

– Нет! Ешь, ешь ее и никак не наешься, – подхватывал Барабанов. – Брюхо набьешь – и опять голодный.

– Вали в тайгу, там наладишься, оздоровеешь, – твердил Бердышов. – Белки сейчас шибко хорошие.

– Без ружья да без собаки? Куда пойдешь? Шапкой, что ли, белок ловить? – возражал Егор.

– Шапкой! – смеялся Иван Карпыч. – А почто лучком не хочешь? Гляди-ка, гольды сколько этой белки лучками стреляют. Да и орехов наберешь; их снегом сейчас навалило, только подбирай.

«Не хватало мне с лучком идти!» – думал Егор.

После снегопада Анга звала крестьянок сходить в кедрач за шишками, но переселенки боялись уходить далеко от поселья. Немного шишек набрали ребятишки на холме. Несколько малых кедров росло на бугре над обрывом. Илюшка посшибал с них все шишки.

Иногда Иван запрягал в нарту собак и, размахивая палкой, лихо ездил.

– Скачет, как на конях! – показывал дед вслед исчезнувшей в тайге нарте. – А я думал, он просмеял меня.

– Чудной все же этот Иван, – говорил Тимошка Силин.

Глядя на людей, Егор сделал себе лыжи-голицы. Подшивать их нечем. У Егора нет ружья. Мужик смотрел в окно. Луга – вот они. От самого горла озера Мылки начинались поймы и острова. Река встала, теперь дорога туда есть. «Неужто я охотиться не сумею?»

На лугах лисьих следов множество.

В заросли желтых трав, торчащих из сугробов, стал приходить Егор. Отсюда видно релку, лес за ней, дымки землянок. Кузнецов расставлял петли и капканы.

Однажды Егор принес в мешке окоченевшую лису. Он подвесил ее к потолку. Лиса оттаяла; и когда кровь стала капать на пол, мужик снял с нее шкуру, а полумерзлое мясо выбросил собакам.

В другой раз Егор пришел с охоты озабоченный. Оказалось, что он видал черно-бурую лису.

– Иду, а она сидит смотрит. Я близко подошел – не убегает. Кинул в нее палкой, попал по ногам – убежала.

Будь у Егора ружье, он наверняка бы принес богатую добычу.

Дед Кондрат решил сам сходить за черно-бурой лисой. Егор запомнил место. Мужики отправились на остров. Егор показал свежий след хромой лисы. Старик наладил петлю и неподалеку поставил ловушку с приманкой. Но лиса не попадалась.

– Ты ее напугал, – говорил дед, – теперь она боится.

Как ни хитрили Кузнецовы, черно-бурая лиса обходила все их ловушки.

* * *

Однажды поутру, глянув в обледеневшее по краям окошечко, Егор увидел на восходе над горами правого берега темно-синюю зубчатую тучу с раззолоченными краями. В этот день начался снегопад. Ветер утих. Мокрый снег обильно падал хлопьями, наваливая большие рыхлые сугробы поверх старых, крепких задулин[30]. В тайге от тяжести снега, навалившегося на деревья, с треском ломались ветви.

После снегопада потеплело. С реки подул чистый, свежий ветер. Под вечер ребята, отработавши в стайках и на релке, играли в снежки и делали снеговую бабу с сучьями вместо глаз и носа. Васька наладил из обрывков веревок постромки, запряг в самодельные салазки Серого и Жучку и, подражая Бердышову, кричал: «Та-тах-та-тах!» Бедные дворняги путались в веревках, Васькиных окриков не слушали, а глупо мотались из стороны в сторону, то и дело вываливая своего погонщика в снег. Вдруг из бердышовской избы выскочила Анга. В синем халате, с непокрытой черноволосой головой и с длинной трубкой в руках, она, прыгая по сугробам, подбежала к Ваське. Живо распутавши постромки, она сама помогла собакам сдвинуть салазки и, покрикивая на них, пробежала шагов сто. Когда псы разбежались, она отстала. Санки вязли в рыхлом снегу, но крестьянские собаки, хотя и не были обучены ходить в упряжке, не останавливались и протащили через сугробы визжащего от удовольствия Ваську. Ребятишки с криками восторга бежали по берегу. Анга, стоя на своем крыльце, курила трубку и смеялась.

Усталые собаки, обежав по релке круг, приплелись к землянкам. Высунув языки и тяжело дыша, они остановились у бердышовской избы. Гольдка, лаская их, присела на корточки и стала растолковывать ребятишкам, как надо учить собак таскать сани, как ими править и как погонять.

До этого случая ребята побаивались Ангу. Теперь между ними установилась дружба. Гольдка с радостью обучала детей езде на собаках. Васька, слушая ее, объездил своих псов, а на него глядя занялись собачьей ездой и другие ребята. Вскоре черно-белые пятнистые крестьянские собаки стали лихо таскать салазки, а Санка даже приспособился возить на них кадушку с водой от проруби.

Сама Анга понемногу привыкала к новой жизни. Говорить по-русски она стала чище и каждую пятницу приходила к бабке Дарье с просьбой:

– Корыто давай!

– На что тебе корыто?

– Стирать надо.

[30] Задулина – крепко сбитый ветром сугроб.

– Ишь ты! – каждый раз удивлялась бабка. – Ну, чего же, бери вон там в углу. А своето когда заведешь?

– Не знаю. Иван-то уж наладит ли, нет ли, – отвечала Анга и уходила с корытом. А под вечер у ее избы ветер холопал обледенелым бельем на веревке, протянутой меж лиственниц.

– Чистотка, – говорили про нее бабы, – не смотри, что гольда.

Когда Иван уходил в тайгу один, изба его становилась местом сборища баб со всего поселья, приходивших посмотреть на Ангу. Особенное любопытство проявляли крестьянки к тому, как она деревянным молоточком выделывала на чурбане рыбью кожу. Сшивая рыбьи шкурки вместе, она кроила и шила из них передники, халаты, обувь с загнутыми морщинистыми носами и даже штаны Ивану.

– Тепло на рыбьем-то меху? – бывало, подсмеивался над ним Егор.

– А где ты тут русскую-то лопоть возьмешь? – недовольно возражал Иван. – На баркасе-то она кусается, а у китайца и того дороже. Ладно, в тайге и так проходим. Чай, не на ярмарке, нас тут не видать.

Впрочем, такие шутливые замечания переселенцев удручали Ивана, и он озабоченно оглядывал свою одежду и вскоре совсем перестал носить штаны из рыбьей кожи.

Мужики были довольны, что наконец и они пробрали Бердышова своими шутками, а он на этот раз не нашелся чем отшутиться.

Из сохачьих шкур Анга делала теплые куртки, рукавицы и меховые торбаса, искусно расшивая их бисером и цветными нитками.

Егор, раньше недоверчиво относившийся к гольдке, однажды, сидя у Ивана, не удержался от похвалы, глядя, как она хозяйничает.

– Ладно, значит, – с живостью отозвался Иван. – Так ничего, что нерусская?

– Это ничего. Крещеная она – значит наша. Только почему ты ей не закажешь табачищем дымить?

– Охотница же она, в тайгу ходит, – возразил Бердышов, – а в тайге как же без табаку? Никак нельзя. Я знал под Нерчинском старика, так тот всю жизнь эту трубку изо рта не вынимал. Длинная у него трубка была. Спать ляжет – возьмет ее в зубы и лежит посасывает. Трубка погаснет – он проснется, огоньку высекет, опять раскурит – и на бок.

Однажды, глядя в окно, как Бердышовы пошли за нартами на лыжах через Амур, Егор сказал, обращаясь к Наталье:

– Иван со своей гольдячкой в тайгу пошел. Славная она…

– Да ведь какая переимчивая, будь она здорова, скуломорденькая, все понимает, – стуча чугунами у печи, подтвердила бабка. – На все руки излаживается…

Глава четырнадцатая

Непривычная рыбная пища плохо грела крестьян, они мерзли, дух их падал, они робели и не решались на далекие путешествия в тайгу, чтобы добыть себе мехов и мяса. Быстро сказалась скудность привезенных с собой запасов. Хлеба уходило много, а покупать его было негде. Сознание оторванности от всего мира угнетало переселенцев. В свободное время или в непогоду они собирались в землянках и толковали о своих делах.

И Егора день-деньской одолевали невеселые думы. Правда, он находил себе работу и без дела не сидел, но на душе его было тяжко. Впрочем, он знал, что хоть камни с неба вались, а он должен здесь окорениться.

Как-то раз сидел Егор у окошка и подшивал бродень, когда в землянку вбежала запыхавшаяся бабка Дарья.

– Иди-ка, Егор, бельговские торговцы приехали! – воскликнула она.

– Какие еще торговцы? – недоуменно глянул Егор. – Откуда взялись?

– Иди, говорят тебе, живо! Китайцы на собаках муку привезли да синее, бязь, что ли…

– На какие вши покупать-то станем? – покачал головой Егор и отложил бродень на лавку.

– Федор сговорился с ними в долг. Сказывают, уж на тот год осенью расчет делать будем. Ступай живей!

Кузнецов вышел из землянки. На снегу под бугром, у барабановского жилья, стояли две собачьи упряжки. Двое торговцев, одетых в мохнатые ушастые шапки и в широкие черные шубы на длинношерстном белом меху, возились подле длинных нарт. Рослый работник развязывал веревки, разгружал тюки и таскал их в землянку к Федору, а другой – сухощавый и подвижной – укладывал собак на снег и разбирал запутавшиеся постромки. Ватага неуклюжих ребятишек, похожих в своей тяжелой одежде на маленьких мужичков, с любопытством наблюдала за ними.

Это приехал Гао Да-пу – хозяин бельговской лавки, решивший ссудить новоприбывших переселенцев товарами. Мылкинские гольды донесли ему, что переселенцы, живущие на Додьге, пробуют заниматься охотой, и купец решил поторговать с ними.

Торг происходил в землянке. Торговцы скинули свои шубы и остались в синих засаленных стеганых штанах и кофтах. Они уселись на корточки на полу и расклыдывали посреди землянки дабу, сарпинку, нитки и разные безделушки. В углу на курятнике лежало несколько длинных и узких мешков с мукой.

– Ну, хозяин, как на новом месте поживаешь? – весело спрашивал Гао Да-пу. В умных карих глазах его была настороженность. Бегло, но со вниманием оглядывал он собравшихся в землянке переселенцев. – А-а, Федора, Федора! Знакома имя! Почему старое место бросил? Наверно, там земли мало, на новые места надо ходить, там помещики есть, тут нету? Моя дома тоже помещик есть, земли мало, там шибко худа жили.

Гао слыхал, что переселенцы уходят со старых мест из-за малоземелья и помещиков. Он знал, о чем надо говорить, чтобы расположить к себе новоселов.

– Наша дома совсем худо, наша папка своя стара китайская Расея бросил, на новое место ушел… Своя Расея давно не видала. Ну как, паря Федора, откудова твоя ходи, какой города пришела, какой деревня, какой твоя города фамилья? Че тебя пермяка? Ребята, все сюда таскай! Как не боиза! Шибко далеко ходи! – восклицал китаец и, ворочая белками, ловил малейшее движение окружающих. – Это, однако, твоя товарища, – кивнул он на Егора. – Одна компания, на одном баркасе ходи. Там, Расея, ваша одна деревня жили или разна?

«Да, вот это китаец так китаец!» – подумал Егор.

Он лишний раз убедился, что китайцы – народ живой, это заметил он еще летом, проплывая по границе. Но там он видел китайцев-тружеников – крестьян и рыбаков, а этот был

богач, ловкий мужик – с ним надо было держать ухо востро. Он и по-русски говорил так, что заслушаешься.

– Моя на китайска сторона жить не хочу. Русские самые хорошие люди! У меня только коса китайская, а сам я настоящий русский! Только по-русски писать не могу! Как узнаю, где приехали русские, сразу еду помогать. Губернатор Муравьев мне тут велел торговать, всем сказал, что меня обижать нельзя! – строго оглядел мужиков торгаш. – Моя имя русское – Ванька Гао Да-пу.

Однако голодным мужикам было не до рассуждений.

– Ну а мука у тебя почем? – спросил Кузнецов.

– Мука? Мука, скажем, совсем даром: два рубля восемьдесят копеек.

– А ну, открывай мешок-то!

– О, смотри! – воскликнул торговец, распуская жестокое и сухое лицо в улыбку. – Хорошая мука, белая-белая мука, будет вкусный хлебушка.

Он протянул Егору горсть муки.

– Пшеничная, что ль? Чего-то не пойму.

– Я в Благовещенске такую видал, – проговорил Тимошка Силин, – она с горохом, что ли, не знаю. Кешка сказывал, хлеб из нее черствеет скоро.

– А это что такое? – спросил Пахом, указывая на черную палку, торчащую в мешке.

– Это такой угли, – ответил торговец, – чтобы мука сухой была.

– Ты пошто такую цену ломишь? – вдруг заговорил, поднимаясь с лавки, желтый и тощий дед Кондрат. – Виданное ли дело, родимые, – обратился он к мужикам, – мука с горохом чуть ли не по три рубля?

– Чего кричишь? Чего напрасно? – с горькой обидой в голосе накинулся торгаш на деда. – Зачем говори три? Два восемьдесят! Кушать не хочешь – не покупай! Весной такая мука десять рублей будет. Эту муку сегодня не купишь – не надо! Моя уезжай! А весна придет – тебе хлеба нету. Тебе весной пропади, умирай, а моя другой раз сюда ходи не хочу.

– Да ты хоть маленько уступи, – подговаривался Барабанов. – Мы бы тогда у тебя всю муку забрали.

– Уступи, уступи! – передразнил Гао. – Эта мука настояща цена три рубля. Моя и так убыток торгуй. Покупай! – кричал торговец, вскакивая на ноги. – Знакомы станем! – Он хлопнул Барабанова по плечу, видимо подражая русским купчикам и стараясь принять вид залихватский и развязный. – Тебе чего надо – у меня в лавке все есть. Вали ходи, все бери, какой товар есть – все продаю! Моя сам собаки запрягай, таскай сюда. Тебе соболь убивай, лиса лови, моя шкурка бери – расчете станем. Потом опять долг бери.

Федор достал из темного угла несколько беличьих шкурок и лису-сиводушку.

– Белка – какой зверь! – пренебрежительно отозвался торгаш, рассматривая шкурки. – Соболь – хорошо!

– Это ты зря говоришь: белка – хороший зверек, – пытался вразумить торговца Пахом. – В Расее-то самый ходовой мех.

– Конечно, белку могу купить, помогай хочу, – подмигнул китаец Федору и передал беличьи шкурки своему работнику, а сам стал смотреть лису, поглаживая ее, дуя на мех и переламывая шкурку.

Рослый работник повертел беличьи шкурки в руках и передал их обратно своему хозяину, что-то буркнув потихоньку.

– Самая хорошая белка – десять копеек, а такая белка – пять копеек, – с горячностью проговорил Гао. – Такую белку только русский купец летом на баркасе покупает. Наша такой товар шибко не надо, мало-мало надо. Белка невыгодно торгуй, тебе невыгодно такой зверь стреляй. Белка много убей, а товар получи мало. Все равно ничего нету. А тебе один соболь поймай – деньги есть, товар есть…

Тем временем и лиса и белки снова попали в руки рослого китайца, и тот упрятал их в мешок.

– Ты хороший человек, – хвалил торговец Барабанова. – Моя не боится тебе в долг давать. Тебе соболя поймай – моя разные товар давай, тебе наша мука кушай, шибко сильный будешь, потом лучок сделаешь, тайга пойдешь, всяка-разный зверь убей. Худой соболь ты поймай – моя два рубли плати, хороса соболь – три рубли, шибко-шибко хороса, паря, – моя пять рублей не жалей. Товар всякий бери, водка покупай – гуляй, – соблазнял он мужиков.

– Ну а лису как же ты ценишь? – спросил Федор, недовольный тем, что китайцы забрали меха, не спросив его согласия.

– Это лиса ничего. Хороса лиса. Такой шкурка можно покупай. – И китаец назначил сходную цену.

Бормотовы принесли торговцу беличьи меха и шкурку кабарги. Пахом был упорней Федора и спорил до седьмого пота.

Егор продал свою красную лису.

Долго торговались мужики с купцами; наконец те уступили, и крестьяне забрали у них всю муку и несколько отрезов бумажной материи, обещая отдать долг к весне мехами либо к осени деньгами.

В разгар торга в землянке появился Бердышов, только что вернувшийся с охоты.

– Ваня, дорогой, старый знакомый! – кинулся к нему Гао Да-пу. – Давно не видались, шибко давно.

– Э-э, здорово, Ваня! – отвечал Бердышов. – Ну, как торгуешь? Муку продал?

– Продал, все продал. Тебе чего надо, какой товар? Почему давно в нашу деревню не ходил? Тятька Гришка, однако, сильно скучай. Ангу давно не видел. Папку худо забывать.

Иван вынул из-за пазухи сморщенную соболиную шкурку.

– А ну-ка, глянь!

– Лучком стрелял?

– Самострелом!

– Анга тоже в тайгу ходит?

– Конечно, Анга тоже.

Китайцы вывернули шкурку, тщательно осмотрели ее, передавая из рук в руки и обмениваясь короткими замечаниями.

– Шкурку сам снимал? – спросил торговец Бердышова. – Зачем шкурку сломал? – сердился Гао Да-пу, обнаружив, что соболь попорчен ножом. – Сам не умеешь снимать, спроси Ангу.

Это была обида – посылать охотника к бабе учиться, но Иван лишь посмеялся.

– Ну а вот это как? – вынул Иван из-за пазухи еще одного соболя, вывернутого мездрой вверх.

– Это хороший! – воскликнул довольный Гао и принялся уговаривать Ивана Карпыча купить жене стеклянных бус, морских ракушек или цветного ситцу. – Твоя баба молодая, ей русскую рубаху шить надо. Ангу надо русской бабой сделать, юбку надо, сарафан. Тебе деньги не жалей.

Бердышов все же не стал покупать материю, потому что у Гао была лишь плохая сарпинка и синяя китайская даба. Он уговорился, что лавочник приготовит ему к рождеству муки и двадцать локтей русского ситца.

– А спирту надо?

– Спирту? – Иван нахмурился, помолчал и, вдруг засмеявшись, ответил: – Что же, давай и спирту. Сдохнуть с тобой! Да уже заодно и ящичек пороху – вот и сочтемся, там за тобой еще за старые меха оставалось…

Иван как-то странно посмеивался. Но в чем тут дело – Егор в толк не брал.

Агафья приготовила торговцам угощение. Они попили кирпичного чайку и стали собираться в обратный путь. Гао Да-пу сложил соболей в мешок. Рослый работник вынес остатки товаров из землянки и погрузил их на нарты.

За два-три часа, проведенные среди переселенцев, для Гао Да-пу стало очевидным, что они живут бедно и голодно.

Он заметил их оживление, когда они увидели мешки с мукой. Нюхом торгаша он чуял, что тут ему будет пожива, и он стремился затеять с ними торговлю и ввести их в долги.

Гао был уверен, что со временем переселенцы обживутся и так же, как и в других посельях, станут поставлять дрова для пароходов, возить почту и охотничать, тем самым добывать деньги. Впрочем, он рисковал. Каждую весну вновь прибывшие переселенцы повально болели цингой.

Многие умирали, а сородичи их, оставшиеся в живых, медленно возвращали долги. Как понимал Гао, цинга должна была к весне появиться и на Додьге, но он не боялся. Он помнил, что торговля – риск, и старался раздать побольше товара всем мужикам, надеясь с тех, кто останется в живых, взыскать убытки.

– Эй, старик! – обратился китаец к Егору, которого по бороде принял за старика. – Тебе ружье надо, нет ли?

– Ружье-то? Что ж, надо, надо. А у тебя есть, что ль?

– Одна штука есть, – китаец поднял кверху указательный палец. – Моя сам не шибко надо, моя уступи могу.

– Его охота ходи нету, – заговорил другой китаец, показывая на хозяина.

– Моя торгуй, моя тайга не ходи, стреляй не надо.

– У тебя ведь фитильные ружья-то, зачем они сдались? – заговорил Бердышов. – Нет, братка, мы себе ружье летом на баркасе возьмем.

– Ну, ничего, – без сожаления отступился китаец от своего намерения продать старое ружье. – Моя другой товар есть, че надо, говори: порох, свинец, крупа, мука, халаты.

Лежавшие собаки, видя, что сборы закончены, зашевелились. Первым поднялся вожак, а за ним и вся упряжка.

Торговцы попрощались с мужиками. Гао, закутавшись в шубу, сел на заднюю нарту. Его работник потянул переднюю нарту, пробежал вместе с упряжкой несколько шагов и, когда псы разошлись, прыгнул на нарту на мешки с товарами.

– Беда этот китаец-торгован! – промолвил Бердышов, кивая вслед Гао Да-пу. – Всякое барахло норовит насовать. Вишь ты, фитильное ружье хотел сбыть. Хитрый же! Ему зимой-то раздолье – один он тут по всей округе. Муку он нынче подходяще оценил.

– Политичный же этот китаец! – покачал головой Федор. – Почище другого писаря!

– Помещика поминал! – горько усмехнулся дед Кондрат.

Собаки мчались вдоль берега, нарты быстро удалялись. С Амура несся жесткий ледяной ветер. Солнце склонилось за дальние сопки, тайга, красная от заката, раскинулась вокруг.

– Ну, слава богу, теперь с мукой! – с облегчением вымолвила бабка Дарья, когда Егор притащил мешок в землянку.

– Уж теперь настряпаю, – говорила Наталья. – Пирогов напеку. Ягода-то наморожена у меня, ягодного-то пирожка. Отмучились, ребята! Слава богу, теперь молоть зерна не надо!

Зерно оставалось для посева. Радовались и дети и взрослые.

«Теперь бы мне кстати поймать чернобурку, – подумал Егор. – Купили бы у торговца еще муки и на одежду».

Егор стал собираться на охоту.

«Эка он разохотился!» – думал Кондрат.

– Видишь, лавочник-то сказал мне, что надо, мол, зверя ловить… – заметил Егор.

Приезд китайца не только облегчил Егору жизнь, но и оживил переселенцев. Оказывается, и тут есть народ бойкий, торговый, оборотистый.

– Наторговались, родимцы! – бормотал дед. – Теперь в долгу как в шелку.

Дверь вздрогнула от порыва ветра, и в землянку клубящимся паром ворвался мороз.

Глава пятнадцатая

Солнце встало в густом тумане и, поднявшись над лесом, светило тускло. В вершинах деревьев прыгали белки. Под кедрами валялись пустые шишки и ореховые скорлупки.

Федор Барабанов, волоча в глубоком снегу лыжи, забирался на сопку. С тех пор как китайцы побывали в поселье с товарами, он стал больше охотничать. Чуть ли не каждый день поднимался он затемно и уходил на Додьгу проверять свои ловушки. Он расставлял их верстах в трех-четырех от поселья по лесистой долине, где было много лисьих следов. Там же Барабанов постреливал белок. Хорошей охотничьей собаки у него не было, и за ним иногда увязывалась его старая, уже беззубая дворняжка Серко. Обычно Федор стрелял белок лишь в том случае, когда сам их видел.

В погоне за прыгающим зверьком, переходя от дерева к дереву, Барабанов добрался до старого кедрача. Кругом были толстые деревья с красноватыми стволами и длинными иглами. В их гуще исчезла белка, и Федору пришлось долго бить по стволу палкой, прежде чем зверек решился на отчаянный прыжок. До ближайшего дерева было далеко. Белка побегала в ветвях кедра, несколько раз то появляясь, то исчезая, но глухие удары дубины о ствол снова выгоняли ее из густой зелени. Наконец, изогнувшись и жалко опустив лапки, белка со слабым стоном прыгнула через полянку. С испугу она промахнулась и попала не на ветку, а на ствол и ухватилась коготками за лиственничную кору. Она судорожно вскарабкалась наверх и заметалась по голой качающейся ветке. На миг она было притаилась, расстелив свой пушистый хвост. Федор мгновенно выстрелил. Белка перепрыгнула на кедр, но не удержалась в вершине его и стала падать.

«Готова!» – подумал Федор. Но зверек замер где-то в нижних ветвях. Барабанов с силой швырнул туда палку так, что упали кедровые шишки. Следом свалилась раненая белка и забилась на снегу. Федор добил ее и привязал к поясу.

Шишки он тоже подобрал и, пощелкивая орехи, двинулся дальше. «Да-а, вкусные орешки, – подумал он, – только пальцы коченеют. Пожалуй что, и впрямь стоит сюда прийти с мешком».

На другой день он забрал с собою в тайгу Сайку и кузнецовских ребят. Те забирались на лесины, рвали шишки или сбивали их, колотя по ветвям палками. К обеду притащили в деревню полмешка кедровых шишек.

Теперь щелканье орехов слышалось во всех углах. Ореховой шелухой и смолистой кожурой от шишек, прилипавшей к одежде и к обуви, ребятишки засорили пол и лавки. Не привыкшие щелкать орехи, ребята натирали себе пузыри на языке, но все же не могли оторваться от назойливого лакомства.

Вечером в землянку к Кузнецовым заглянул Бердышов. Егор показал ему новую свою добычу – красно-пегого молодого лисовина. Зверь попал в ловушку, и бревно, прилаженное на приманку, придавило его.

– Чего же, ладно. Продашь китайцу… Только сними эту шкуру ладом, а то она ломаться станет.

Наталья поставила на стол деревянную чашу с орехами. Иван грыз их, перекусывая орехи поперек, быстро выбирая языком ядрышки из скорлупок.

– Орехи грызть за мной ты никак не поспеешь, – усмехнулся Бердышов, глядя, как Егор кусает орехи вдоль, ломает и скорлупу и сердцевинку, а потом все сплевывает, не сумев разобрать языком, что можно есть, а чего нельзя. – Это еще не такие хорошие орехи: скорлупка толста, щелкать их неловко. А вот у нас в Забайкалье орехи так орехи: скорлупа тоненькая, орешек ядреный, маслянистый. Подсушат их бабы в печи, каленые-то они адали облепиха. Свежие тоже ладны. У нас и масло с них делают и сбоины. Нащелкают девки полну латку,

потом заварят кипятком, распаривают, прижулькивают веселком. Масло-то отделяется. Эх, у моего отца дома свой завод был: и латки, и камни, и котел! Масло мы делали ореховое. На усдобление идет. Ведь это красота!.. А уж сбоинами до тошноты объедались.

В тот вечер Иван, начавши с забайкальских орехов, вспомнил былую жизнь и долго говорил о своей семье и о родной Шилке.

Он был потомком забайкальских крестьян, которых Муравьев впоследствии записал в казаки. Отец его, небогатый скотовод, земледелец и охотник, всех своих сыновей – их в семье было трое – с малолетства приучал зверовать в тайге. Ивану парнишкой случалось бывать на Амуре и за Амуром. Отца влекли туда слухи о том, что там видимо-невидимо зверья. Однажды Бердышовы заплутались, долго бродили по трущобе и, выбравшись на Амур, голодные и оборванные, наткнулись на китайский караул. Они еле-еле отстрелялись от него и снова ушли в тайгу.

– В те времена маньчжуры строго смотрели, чтобы русские на Амур не выходили, – говорил Иван. – А инородцы эти еще и в те времена хороши были с нами. Мы им на расторжку всякую мелочь таскали: стеклышки, нитки, сережки. Русский, бывало, у них первый гость. Нас почитали. Рисковое дело было промышлять за Горбицей пушнину. Ведь, бывало, тыщу верст прешься, как не знай куда. Ну, уж если бы попались, была бы печаль.

Ушел Иван от Кузнецовых в задумчивости и расстройстве, что случалось с ним всегда после того, как поминал он родину и сравнивал старую свою жизнь с теперешней.

Живя на Амуре с гольдами, он надеялся со временем разбогатеть и богатством вознаградить себя за страдания и бедность. Хотелось ему, чтобы слух о его богатстве дошел до Шилки, чтобы и на родине услыхали, как зажиточно живет Иван. В Бельго он начал жить без гроша за душой. Гольды, приютившие его, сами были небогаты. А в понимании русского человека – без земли, без скота и без хозяйства на русский лад – были почти нищи. Иван, оправившись, стал помогать им, как мог. Он жил бережливей их, не позволял торговцам обманывать себя, промышлял с настойчивостью, а не поддаваясь воле случая, как они, из года в год добывал все больше и больше пушнины. Анга быстро переняла от Ивана эту настойчивость в стремлении к богатству и помогала ему.

Но, живя среди гольдов, Иван не мог разбогатеть: приходилось делиться с ними своим достатком, платить их долги, отстаивать их в ссорах с торговцами, что ему всегда удавалось делать если не хитростью, то силой.

Торговцы побаивались Ивана и не перечили ему. Но и он зря с ними не ссорился и со временем стал заступаться за гольдов только в случае крайней нужды.

Почти все бельговцы через жену приходились Бердышову родственниками, и отказать им в помощи он не мог. Когда они проедались или пропивались, Иван кормил их и даже покупал для них товары на баркасах. Только часть доходов от проданной пушнины ему удавалось утаивать от своих родичей, но больших денег он скопить не мог.

С переселением на Додьгу Бердышов освобождался от назойливых родственников. Анга, которая жила мечтой обрусеть и старалась во всем подражать русским, была довольна отъездом из Бельго, хотя и скучала о доме.

Наступала решающая пора, и Бердышовы стали охотничать особенно усердно, зная, что теперь каждый лишний соболь приближает их к богатству. Воспоминания о доме всегда подхлестывали Ивана. «Поди, уж братья мои и товарищи разбогатели, – думал он. – А я все гол как сокол. За шутками и за озорством жизнь-то и минет. Что с того, что я и силен, и понимаю всякого зверя, и никогда еще не струсил! От силы мне и беда, она зря играет, на безделицу меня прет».

Иван понимал, что больше нельзя терять времени. Однако он знал, что от одного промысла ему не разбогатеть.

* * *

На другой день после беседы в землянке ударил сильный мороз. Деревья заиндевели. С реки опять подул жестокий ветер.

Егор поутру пошел к Бердышову, но того дома не оказалось.

– Где он? – с удивлением спросил Кузнецов у Анги.

– Не знай, куда пошел, – уклончиво ответила та, укладывая в мялку шкуру дикой козы.

Егор догадался, что Иван, верно, на промысле.

– На охоту, что ль, пошел?

– Однако, на охоту! – безразлично ответила гольдка.

Пока Егор возвращался к землянке, на усах у него намерзли сосульки, а воротник полушубка закуржавел.

Лес стоял как мертвый. Егор нарубил дров и принес несколько охапок в землянку. Печь жарко раскалилась.

Пришел Барабанов. Он в этот день не решился пойти на Додыгу проверить там свои капканы.

Когда туман рассеялся, Егор заметил, что жена пошла с ведрами на прорубь, но что-то увидела, остановилась как вкопанная и долго глядела вверх.

– Гляди, на небе три солнца, – сказала она мужу, вернувшись.

Егор вышел, а за ним Федя, дед, бабка и ребята.

Над вершинами лиственниц явственно светили три красных солнца: среднее – яркое и большое, и два малых по бокам, соединенных друг с другом мерцающей огненной дугой. Боковые солнца то расплывались и удлинялись, превращаясь в огненные столбы, то снова круглели.

– Я уж который раз это вижу, – говорила бабка Дарья. – Как-то утром вышла я по воду, гляжу, мать пресвятая богородица, из-за горы два солнца лезут. Я сперва сама не своя стала, а потом смотрю, которое обыкновенное-то, поболе сделалось, а другое тает, тает и вовсе погасло!

– Мороз! – сказал Егор. – Как рожки с боков горят!

Холода стояли целую неделю. Потом сразу потеплело, повалили снега, и начались сильные ветры.

Однажды поутру Егор проснулся от шума и треска в тайге. Едва просунулся он в дверь, как снежный вихрь облепил его мокрыми хлопьями, ветер ворвался в землянку. Кое-как Егор выбрался наружу и стал отгребать снег от двери.

Кругом ничего не было видно. Пурга завывала и свистела в лесу, словно по воздуху с размаху секли цельными деревьями, как прутьями. Ветер дул с верховьев. Снег вдруг понесся сплошной лавиной, словно спустившаяся снеговая туча помчалась по земле, заваливая сугробами всякий холмик, пенек и кустик на реке. Но через несколько мгновений прояснело, словно тучи пронесло.

Наталья пошла по воду.

Едва спустилась она на лед, как опять застлало все вокруг. Снег слепил глаза, бил в лицо непрерывным и жгучим потоком. От быстрого ветра перехватывало дыхание.

Рыхлые снега на тропе уже были глубоки, местами приходилось пустые ведра подымать вровень с плечами. Временами рывки ветра останавливали Наталью, тогда она оборачивалась к нему спиной, чтобы хоть как-нибудь перевести дух.

Она дошла до снежной воронки, образовавшейся на месте проруби, разгребла снег, надломила тонкий ледок, настывший за ночь, и набрала воды.

Обратно идти было полегче. Ветер дул в спину, подгонял Наталью, подхватывал ее и нес вперед, а полные ведра, хотя и вязли в глубоком снегу, но прокладывали сами себе дорогу, так что за Натальей оставалось три борозды.

Только подымаясь на берег, она заметила, что ветер вовсю хлещет воду из ведер. Она зашагала побыстрей. Вот уже в снежной мгле зачернела дверь землянки, и в тот же миг Наталья поскользнулась на обдутом обледенелом гребне косогора и упала, перевернув на себя ведра.

Ветер сразу схватил воду и заморозил ее так, что вся одежда превратилась в ледяную корку. Ведра с грохотом покатились вниз через снежные волны.

До сих пор Наталья терпеливо сносила всякие невзгоды, но сейчас ей стало так обидно, как никогда еще не было за все годы, прошедшие с ухода из дому. Слезы полились из ее глаз.

– Господи, за что мучаемся! – с горечью воскликнула она, падая в сугроб и закрывая голову руками. Рукавички ее проледенели насквозь, и руки окоченели до жжения. Ветер стал заносить ее снегом.

Кое-как собралась она с духом, поднялась на ноги, вытерла сухим рукавом лицо, огляделась и полезла под откос. В сугробах Наталья отыскала ведра и снова поплелась к проруби.

– Ты, Егор, ступеньки выруби к бережку, – сказала она, возвратившись с водой в землянку, – а то, гляди-ка, я обкатилась как. – Она стала очищать одежду от ледяшек.

– В такую погоду снег надо таять, а не на прорубь ходить, – ответил на это Егор.

– Задним-то умом ты крепок, – вспыхнув и утираясь, отозвалась жена. – Да будь ты неладен со своим Амуром! Куда завез да как тут жить…

Наталья расплакалась. Егор был смущен такой вспышкой жены и молчал угрюмо.

Наталья отвернула мокрое лицо. Ей стало нестерпимо больно: вдруг все обиды, все страдания этого безмерно тяжелого года подступили ей к сердцу. Она подумала, как бы пожалели ее там, в России, на родине, если бы узнали, как мучается она с детьми. «Да нет, и не узнают никогда, мы тут как канули в воду». Она вдруг с ясностью почувствовала, что зашла с мужем на край света, что дальше идти некуда, и горше жизни быть не может, и что пожалеть ее тут некому. От этой мысли стало ей так горько, что она скривилась, затряслась и в отчаянии завыла – завыла чуть слышно, как бы не веря, что плач, рыдания могут привлечь к ней чью-то жалость. Егор казался ей в этот миг чужим, постылым. Тут и от слез не было толку, и она выла в тупом отчаянии только потому, что не могла сдержаться.

Егор поник. Жаль ему было жену. С ней прошел он самый трудный путь в жизни. Она была его помощником, другом. Ее теплота, совет, доброе слово грели сердце мужика и рассеивали его заботы. И вот Наталья, жена, работница, мать его детей, поддалась.

– Наташа…

Страшно ему стало, что жена поддалась, и еще страшнее было, что воет, ревет она не для людей, не для него, а про себя, словно никому не желая открыть своих ран.

– Наташенька… жена…

Она завыла чуть громче, отзываясь на ласковую его речь. Сердце ее просило участия, сочувствия, доброты.

Егор присел к ней. Она заревела в голос и сквозь плач стала браниться, но Егор понимал, что она уже не сердится, что это дурные думы, зло, все плохое выходит прочь из доброй души ее и что, выбранившись, выплакавшись, снова станет она сердцем с ним.

Пурга, то ослабевая, то усиливаясь, пробесновалась целый день. А под вечер к Кузнецовым в землянку неожиданно явился Бердышов. Он вышел из тайги поутру и, как оказалось, уж отоспался, успел хлебнуть стакан водки и теперь решил проведать переселенцев. Все были рады его возвращению.

– Как же это ты, Иван Карпыч, домой-то попал, экая погода, ни зги не видать? – спрашивал его дед.

– Маленько не сбился. Однако, тогда была бы беда, – довольно смеялся Бердышов.

Набегавшись по тайге до усталости, он опять был в хорошем настроении. Охота у него была удачная, он раздобыл соболей. После недельного шатания по тайге в одиночку он радовался теплу и людям.

– Отец учил нас не блудить в тайге, приметы передавал. Это как грамота, еще трудней – так мой тесть-то говорит. Вот однажды отец воткнул в сугроб бутыль с водкой и говорит: «Вали по следу, ищи ее. Найдешь – твоя, а не найдешь – отдеру!»

– Ну-у!.. – открыл рот Федюшка.

– А-ах! – воскликнул дед. – Ну? Неужто так и сказал?

Иван усмехнулся.

– И выдрал, значит? – продолжал любопытствовать дед.

– Пропала иль нашел? – спросил в свою очередь Егор.

– Конечно, нашел, – безразлично ответил Иван, словно это само собой подразумевалось, – куда денется!

– А-а!.. – разочарованно отозвался дед, словно пожалел, что Ивана в свое время лишний раз не выдрали.

Завыл в трубе ветер, и снег с шумом забил по двери. Дрожал ставень. Лучина затрещала, вспыхнула и погасла. Наталья высекла огонь, зажгла новую лучину и воткнула ее в поставец.

– Экая лютая погода, – заметил Егор.

– Нет, не всегда и тут такие зимы. Это испытание новоселам: как, мол, не оробеют ли?

– Чего же робеть? – возразил Егор.

– Даст бог, окоренитесь, – продолжал Иван, кутаясь в козью шубу и прилегая боком на лавку. – Потомит она годик, а потом отпустит. Только бы не высокая вода летом, можно остров распахать, тогда бы уж все ладно было. А непогода – это пустяки. Вообще-то всегда бывает какая-нибудь лиха беда, когда придут новоселы: пурга ли, высокая ли вода, или другое чего.

Пришел Барабанов и стал у двери, отряхиваясь от комьев снега.

– А тебе, Федор, однако, ловушки теперь не найти, – вспомнил вдруг Бердышов. – Занесло всю твою охоту. Ты когда ее проверял последний-то раз?

– Третьеводни был, да ничего не попалось.

– А на соболей-то ты ладишь самострелы?

– А как же, конечно, да все без толку!

– Ты чего-то не так устраиваешься, – посмеялся Бердышов в сознании своего охотничьего превосходства.

Рванул сильный ветер и с шумом понесся по тайге.

– Экий ветрина! – вздохнул дед. – О господи!..

– Кто по Амуру сейчас едет, тому уж горе-гореваньице, а в тайге все же не так, – сказал Иван, прислушиваясь к шуму.

– Давно слыхал я, еще в Расее, – заговорил дед, – что есть будто у нас земля, а населения на ней нет. Еще тогда баили, что станут выкликать в народе охотников на переселение, а не сыщут охотников, пошлют невольников. Земля та будто сурова, не в пример холодней Расеи.

– А вот ведь, братки, не знаю я, где эта самая Расея, – вдруг сказал Бердышов. – Какая она из себя?

– Даст бог, Иван Карпыч, и тут леса порубим, земли запашем, тоже Расею сделаем – поглядишь тогда, – простодушно ответил Егор.

– Вот теперь я который год от переселенцев слышу: Расея да Русь, сам же русским прозываюсь, а где она, эта матушка-Русь, откуда население все идет, – я и не знаю. Забайкалье свое знаю, Шилку знаю. Онон, Ингоду до верховьев – по-нашему это и есть самая Русь. На Селенге бывал, далее – Байкал, в Иркутске дядья мои бывали ходоками от нерчинских мужиков – везде народ по-русски говорит, и мы эти места всегда за коренную Россию держим. – Иван помолчал и усмехнулся. – А оказывается, ниче, паря, я не знаю… Гураны мы, уж гураны и есть, тайга и тайга… самовара не видали.

– Ты, может, и про Питер да про Москву не слыхал? Чего с тобой сделаешь! – молвил Силин.

– Пошто не слыхал! Там император живет, это я знаю, тамока дворцы, соборы, эти города и нам столицы. Да я не пойму только, почто тут-то не Русь? Не одинаково, что ли, с вашей местностью? – хитро прищурился он.

– У нас разве такая жизнь! – воскликнул Федор и стал рассказывать, какие хлеба родятся на Каме, какие там богатые села.

– Я послушаю, как на старых местах народ жил, меня бы, однако, медвежатиной оттуда не сманили. Чего же вы сюда приехали, коли там лучше?

– Чего ты понимаешь про Расею! – вдруг обиделся дед Кондрат. – Это страна великая, народ в ней крепкий, кондовой. Здешний-то край Расее же подчинился!

– Ваши забайкальские-то похожи на бурят, – промолвил Егор.

– Верно, на верхней Аргуни казаки на бурят смахивают, а наши-то, шилкинские, от них совсем отличны. Роды-то наши от первых поселенцев, – со сдержанной обидой возразил Иван. – Кто волей, а кто неволей шли в Забайкалье. Так же, как вы на Амур… У нас деды расейские были, русы волосы имели, еще и сейчас про русы косы да про золоты кудри песни поют, а золотых-то кудрей мало, почитай, ни у кого нет кроме семейских. А песня-то как поет: «Подойди, родима матушка, русу косу расплети, подойди, родимый братушка, русу косу расплети…»

– Почернел народ, озлился, – усмехнулся дед.

– Это уж потом они маленько почернели. Но все равно родятся беленькими. Пока младенцы – белобрысые.

– Хитрый народ эти забайкальские! – с досадой и восхищением сказал Федор.

– Маленько-то, конечно, хитрованы. Да без хитрости нельзя. Как ты с инородцем станешь жить иначе? Наши забайкальские при границе жили, у них это хитрованство-то как заслон от чужих. Тут на хитрость только и жить. С торгованами, с албанщиками[31] встречаемся. Тут одни торгаши. Они за работу не уважают, а уж хитрован – первый у них человек.

– Все же сибиряки не похожи на расейских, – шутливо возразил Егор, видя, что Ивана такие замечания хватают за сердце, – за своих трудно признать забайкальцев-то.

– Как разведка на войне! Прадеды наши пошли вперед, стали жить в Забайкалье, далее этот Амур наши же забайкальские отыскали. Это теперь потянулся народ из России. На Амуре-то окоренимся, а молодая-то поросль дальше, может, потянется. В Забайкалье легче было, чем тут. Бурята там ха-ароший народ, с ними жить да жить, они русского человека как следует понимают.

– А как китайцы? Что за народ?

– И китайцы народ хороший!

– Ладно, что они тут торгуют, а то бы совсем худо было, – сказал Федор.

– Конечно! Кто бы торговал? Где бы хлеб-то брали? – подтвердил дед.

– Ну, летом, ладно, на баркасе, – продолжал Федор, – а зимой? Амурские-то купчишки – звeристый народ, сам говоришь, жулики как на подбор. Поглядели мы на них в Хабаровке, не дай бог к ним в кабалу попасть. Без китайцев бы тут трудно было. А бельговский лавочник вон какой боец да говорун, такой и обманет – не жалко.

– За присказку-то? – усмехнулся Егор.

– Сдались они тут, как в петровки варежки! – недобро возразил Бердышов.

Егор уже не впервой замечал, что Иван недолюбливает бельговских торгашей.

– Конечно, настанет время, уйдут, наверно, – сказал Кузнецов.

– Вестимо, – подтвердил Федор, – разве продержишься. Тут теперь с Руси полон Амур найдет народу.

---

[31] Албанщики – сборщики дани – «албана»

– Охота мне повидать Расею, – продолжал Иван задумчиво. – Я когда-нибудь еще поеду туда…

Глава шестнадцатая

С приходом на Амур крестьяне плохо соблюдали старые обычаи, ели мясо в постные дни и в посты, лишь бы было где его взять; если стояла хорошая погода, то работали и в праздники и по воскресеньям, хотя и помнили эти дни. Они считали себя тут как бы свободными от прежних суеверий и предрассудков. Тут было все не так, как на родине. Старые обычаи и приметы были теперь ни к чему.

Какой же мог быть домовой в землянке! Только в пурге некоторые переселенцы еще по-прежнему видели черта, с чем Бердышов никак не соглашался.

– Все черти тут при гольдах живут, – смеялся он, – у них этих чертей, беда, шибко много, а при русских чертей нету. Поразговаривай-ка с Ангой, она их всех знает, где какой.

Забывались и старые песни. Давно уж не певали их крестьяне, и не хотелось петь, чтобы не бередить душу воспоминаниями о родине.

В рождественский пост переселенцы вовсе оскоромились. Бормотовы подстрелили в верховьях Додьги секача[32].

К Рождеству и у Кузнецовых и у Барабановых были мука и мясо, и бабы стали подумывать, как бы отпраздновать праздники, чтобы хоть чем-нибудь оживить свое унылое житье-бытье.

На последней неделе поста морозы отпустили. Стояли ясные, хотя и ветреные дни. Как-то поутру, еще затемно, в землянку к Кузнецовым ввалились Иван и Федор, одетые в полушубки и в дохи. По их движениям, как они рассаживались на лавки, и по их оживлению Егор, лежа на печке, догадался, что мужики что-то задумали.

– Ну, Кондратьич, подымайся, – хлопнул себя кнутовищем по валенку Федор.

– Чего еще затеяли? – привстал Егор.

– Праздники станешь ли справлять? – спросил Бердышов.

– Стало бы с чего их справлять, – отозвался из теплого угла дед.

– Чего тут! Ни попа, ни церкви, – возразил Егор. – Если метели не будет, робить бы, а то время только зря пройдет.

– Грех в праздник-то робить, – покачал головой Федор. Как он ни был скуповат, но погулять любил, хотя часто жалел после гулянок пропитого и проеденного. – Дело-то не медведь, в лес не убежит. А мы было в Бельго собрались, в лавку. Думали, и ты с нами поедешь – крупки купить да и на рубахи бы набрать надо. Аида! Да и водчонки возьмем, надо же и погулеванить, а то тут вовсе зачумишься.

– И то дело, поезжай-ка, Егор, – подхватила бабка. – Настьке да Наталке на сарафаны бы привез к празднику. А то, как на Амур пришли, еще нисколечко для «женского» не брали.

– Конь у тебя застоялся, – сказал Бердышов, – слышно, как назьмы копытами отбивает. Запрягай-ка, живо промнешь его. Поглядишь, как гольды живут. Ты ведь еще не видел. Лодку тебе надо, уговоришься, сделают весной. Лыжи купишь. Забегаешь по тайге-то! Берегись тогда, звери!..

– Денег-то нету. Набрать товару немудрено, да отдавать-то чем станем? – упорствовал Егор.

– Нам и так поверят. А отдавать когда надо будет, тогда и подумаем, – ответил Иван. – Да вот Федюшку свези, пусть и он приглядывается, – кивнул Иван на паренька.

Тот с радостью вскочил с лавки и опрометью кинулся обуваться. Видно было, что и ему до смерти наскучила однообразная жизнь.

---

[32] Секач – дикий кабан, самец.

Ущербленная луна уже побледнела над лиственницами, когда мужики на двух санях съехали с берега на широкий амурский лед и покатили в Бельго.

Федор лежал в передних санях между Санкой и Иваном. Бердышов показывал дорогу, чуть намеченную по снегу, а парнишка правил. Настоявшийся Гнедко шел крупной рысью. Егор с Федюшкой и Тимошка Силин лежали в задних розвальнях. Егоров Саврасый, бойко перебирая мохнатыми лодыгами, следовал за передними санями, то и дело набегал на них и, потряхивая гривой, пофыркивал над головой Барабанова.

– Вот ты, Иван, все с бельговскими водишься, – говорил Федор. – А ведь Мылки к нам будут поближе, а из мылкинских ни разу никто не был на Додьге, как мы приплыли. И ты про них никогда не поминаешь.

– Между Мылками и Бельго идет вражда, – проговорил Иван Карпыч. – Они как-нибудь еще драться станут. Мылкинские и меня заодно с бельговскими считают.

– Ишь ты! Чего же это гольды не поделили?

– Из-за девок они в прошлом году поссорились. Тут в Бельго есть старик Хогота, у него сын Гапчи, отчаянный парень, он себе украл бабу в Мылках, она была женой тамошнего богатого старика. Потом мылкинские всей деревней напали на этого Гапчи, хотели ее отбить, но ничего у них не вышло. Ну и затянулась эта канитель.

Федору только теперь стало понятно, почему Иван ни словом не обмолвился, когда Егор отобрал у гольдов невод. «Однако, это мылкинские тогда были. А ты, видно, тоже тут не без греха», – подумал он про Бердышова.

По реке навстречу едущим дул морозный ветерок. Через торосники дорога, чуть намеченная нартами и изредка проезжающими санями, уходила под обрывы правого берега. На середине реки топорщились глыбы битого льда, нагроможденного на мели и вмерзшего во время рекостава.

Заснеженные каменные сопки вереницей плыли назад. Крутые и щербатые обрывы их были черны. Через шесть таких сопок открылся вид на лесистую пойму, на паши[33] и на глубокую падь, ушедшую клином, как в стены, в крутые и щетинистые хвойно-лесные увалы. Над поймой у самого берега высилась небольшая релочка с обрывами. На ней в порубленных перелесках и ютилось несколько десятков хмурых приземистых фанзушек поселка Бельго.

– Эвон кто такой? – сказал Санка, завидев поодаль от дороги человека, который приник на корточках ко льду и махал палкой вверх и вниз.

– Это рыбак, старик какой-нибудь, махалкой ловит рыбу в проруби, – объяснил Иван. – Как пристанем к лавке, ты беги с Федюшкой, погляди. Без наживы, одним кованцем[34] таскает.

Рыбак, завидя коней, поднялся и стал присматриваться к едущим.

Бердышов показал дорогу к лавке, и вскоре розвальни, поднявшись на берег, подкатили к глинобитному дому с высокой крышей, стоявшему поодаль от стойбища.

Под свайными бревенчатыми амбарами загремели цепями сторожевые черные псы. Ездовые собаки подлаивали им.

Купцы вышли из фанзы. Гао Да-пу, спрятав руки в разрезы стеганой юбки и согнувшись, короткими шажками выбежал вперед и остановился, не доходя саней.

– Давно, давно, Ванча, ты в нашу лавку не ходи, – скалил он зубы, поеживаясь. Собрав в жесткие складки крепкое смуглое лицо, торговец поблескивал бойкими глазами.

Там же суетились, унимая собак, его братья. Старший из них был толст, но проворен. Разогнав собак, он подскочил, чтобы поздороваться с мужиками, и стал с размаху хлопать ладонью по их рукам. Одет он был неряшливо. Грязная стеганая кофта лоснилась, на лысине торчала маленькая засаленная тюбетейка.

---

[33] Паши – пойменные луга.

[34] Кованец – кованый остро заточенный крючок.

Младший брат, напротив, выглядел щеголем. Из-под распахнутой лисьей шубы виднелся шелковый черный халат, голову покрывала новенькая шапочка с шариком на макушке, на ногах он носил теплые туфли с толстыми войлочными подошвами; ходил он, как-то необыкновенно выворачивая пятки и покачивая бедрами. У него были живые, шустрые глаза и острое тонкое лицо с тяжелой и неприятной нижней челюстью. Несмотря на разницу во внешности, и у грязного толстяка и у щеголеватого юноши был одинаковый вид сытости и довольства. Старший был, как видно, обжора и здоровяк, а младший имел слабость рисоваться и во всем подражать богатым городским купцам.

Иван Карпыч называл их Василием и Мишей, а самого хозяина – Иван Иванычем или просто Ваней.

Работники притащили два старых овчинных тулупа и накрыли ими коней, как попонами. Щеголеватый Мишка время от времени резко покрикивал на работников, стараясь показать себя хозяином.

Гао Да-пу обнял Бердышова и повел гостей в лавку. Фанза была полна разных товаров, шкур, китайской мануфактуры, посудин с вином. На канах [35] стояли лакированные столики. На всем лежал отпечаток благополучия хозяев.

Мужики и торговцы, как обычно во время купли-продажи, заспорили, зашумели, стараясь перекричать друг друга. Брань повисла в воздухе.

Федюшка и Санка, обогревшись, выскочили из лавки и побежали на Амур к проруби. Там сидел горбатый седой гольд, одетый в коротенькую шубейку, и махал своим самоловом.

Едва ребята к нему приблизились, как он выдернул из проруби щучку. Высвободив из-под жабер вершковой крючок, гольд кинул рыбу на снег. Она забилась и запрыгала, но морозный ветер быстро обледенил и усыпил ее.

Ребята, оглядевшись, осмелели и подошли к рыбаку вплотную. Он поднял к ним дряблое лицо с больными глазами и заискивающе улыбнулся, показывая свой самолов. На короткой палке, на конце поводка, была прикреплена деревянная рыбка, обшитая мехом белки-летяги, а повыше ее – железный крючок. Таково было все устройство снасти.

Старик оказался добрым. Слов его ребята не понимали, но он изобразил движениями, как щука играет с деревянной рыбкой и зацепляется жабрами или боком за прыгающий в воде остро отточенный крючок. Самоловы с ненаживленными крючками ребята видели и по дороге у амурских казаков, но такую простую махалку они наблюдали впервые.

С берега сбежали, направляясь к проруби, двое расторопных гольдят. Однако, разглядев чужих, они помчались обратно, и, как ни кричал им старик, они его не слушали и скрылись в одной из фанз. Гольд сам собрал закоченевших щук и, ворча, отправился через сугробы, а Федюшка с Санкой возвратились в лавку.

Мужики набрали водки, ситцев, табаку и разной мелочи. Поскидав дохи и полушубки, они, сидя на теплых канах, пили горячий чай. Торговцы поднесли им по чашечке ханшина; бородатые лица переселенцев раскраснелись и повеселели.

Разговор шел о землепашестве на Амуре.

– Моя тут маленький огород есть, – рассказывал Гао Да-пу. – Огурец есть, брюква, капуста. Тоже каждый год землю копаем. На Горюн переселенцы первый раз приехали – моя раньше думай, как они в тайге пашню делай? Потом смотри – его тайга рубили, землю копали, хлеб посеяли. Потом другой год хлеб собирали. Его шибко работай – хлеба немножко, совсем мало получи. Моя думай, ваша шибко много лес руби не надо. Надо соболя ловить, соболя поймаешь – барыш получишь, мука, водка купи – гуляй можно…

Гао Да-пу советовал мужикам охотничать, суля большие выгоды.

---

[35] Кан – глинобитная теплая лежанка вдоль стен дома, шириной в рост человека, под каном проходит дымоход от очага.

Иван, между прочим, узнал бельговские новости. Оказалось, что в стойбище, кроме женщин, детей и нескольких больных стариков, нет никого. Охотники, ушедшие на промысел осенью, из тайги еще не возвращались.

Погостив в лавке, мужики направились в стойбище с намерением выменять у стариков кой-какие необходимые вещи. Покупки уложили в сани, распростились с торговцами. Иван, встав на колени в передних розвальнях, тронул вожжами Гнедого. Мужики двинулись пешком вровень с санями, переговариваясь с Бердышовым.

Сани переехали редколесье, отделявшее лавку от стойбища.

Нарядные гольдки в ярких халатах стали перебегать из фанзы в фанзу или, открыв дымные двери своих жилищ, громко переговаривались между собой.

– Это ведь для нас они, дурехи, вырядились. А то ходят в халатишках из кетовой кожи, – говорил Иван. – Увидали и понадевали на себя шелка и серебро.

– Бабы же! – отозвался Егор.

– Тут сейчас бабье царство, – засмеялся Иван. – Мужья все в тайге, а старики сами всего боятся. Меньшой лавочник, как петух. А мужики где-нибудь для него же добывают меха.

– Как солдатки, – вымолвил Егор. – Эх, бедность, бедность, – вздохнул он, – везде так-то бывает!

Подле длинной глинобитной фанзы стоял давешний горбатый рыбак. Он корил низкорослую женщину с серебряным кольцом в носу, стоявшую на пороге. Из-за ее желтого халата, расшитого красными узорами, со страхом выглядывала орава ребятишек, мал мала меньше, с глазами, воспаленными от болезней и дыма, с жестковолосыми черными головами.

Иван поздоровался с горбатым гольдом, и тот, оставив игривую молодуху в покое, поспешно заковылял вровень с санями.

У следующей фанзы, покуривая, сидели двое древних стариков. Один из них слепой, другого согнуло в три погибели от какой-то болезни. Иван вышел из саней и заговорил с ними по-гольдски.

Сопровождаемые тремя стариками, мужики вскоре подошли к дому Удоги – тестя Ивана. Жилье его отличалось от других. В углу сложен очаг наподобие русской печки, а пространство между канов устлано вымытыми и выскобленными досками. На канах стояли русские сундуки, а в окна были вставлены стекла.

Айога и ее сынишка Охэ с восторгом встретили Ивана. Хозяйка захлопотала об угощении.

У всех бельговских гольдок вдруг оказались неотложные дела к Айоге, и они то и дело забегали в фанзу. Некоторые из них, посмелее, усаживались в сторонке, у очага, и с таким видом слушали разговоры приехавших, что казалось, никакая сила не смогла бы сдвинуть их с места.

Айога приготовила гостям кашу с сушеной кетовой икрой. Охэ, полнощекий коротыш в ватной курточке, не отходил от Ивана и ластился к нему, терся большой и чистой стриженой головой о его колени.

– Чего же ты на охоту не ходишь? – спрашивал его Бердышов. – Большой уж, свои нарты пора заводить.

– Тятька не берет, – чисто по-русски ответил ему Охэ.

– Пора бы тебе белок стрелять, как же это ты? Шаманом, что ли, будешь, пошто ленишься в тайгу бежать? – дразнил его Иван. – Еще не собираетесь помириться с мылкинскими? – обратился Иван к старикам.

Бали – гольд с бельмами на глазах, со впалыми щеками и редкими волосами на верхней губе, шамкая, стал с трудом говорить, что Хогота хоть и старик, но еще крепкий и до сих пор ходит на охоту. Ему удалось поймать медвежонка, и он теперь выкармливает его, а летом хочет заколоть, устроить праздник, позвать в гости мылкинских и мириться с ними.

– Ты бы, Ванча, помог нам помириться, – смахнул слезу Пагода.

Это был согнутый болезнью старик со страшной головой. У него на темени седой щетиной торчали стриженые волосы, а маковка и затылок были обнажены, голая кожа на них красна, узловата и морщиниста. Когда-то Пагода попал в медвежьи лапы. Зверь сломал ему шейные позвонки и, ухватив когтями затылок, содрал кожу с головы. Согнулся же Пагода недавно от ломоты в пояснице, так что при ходьбе он касался правой рукой земли.

– С тех пор как ты уехал от нас, нам жить плохо стало, – жаловался старик.

– Нынче весной, если не помиримся, беда будет! – Сказав так, горбатый Бата заморгал красными безволосыми веками. – Мылкинские могут у нас всю деревню перебить. С копьями нападут, станут всех колоть.

Мужикам пришлось долго слушать непонятную беседу Ивана со стариками. Наконец Федор не вытерпел и заговорил о деле. Бердышову и самому надоели жалобы гольдов, и он рад был завести с ними другой разговор. Он стал переводить, и мужики через него завели беседу со стариками.

Егор и Федор условились с Батой о цене лодок, которые делал его сын.

Старики брались вязать мужикам невода и сети, делать снасти, шить меховую обувь, шапки, куртки для охоты. Все эти работы они собирались задать своим дочерям, внучкам и невесткам. Однако мужики еще робели сделать гольдам сразу так много заказов и не воспользовались их предложениями.

Тимошка Силин сам, без толмача, сторговал себе у Пагоды пару лыж.

Старики были очень рады приезду переселенцев. Они подробно отвечали на все их расспросы и всячески старались удружить им. Старым гольдам было приятно, что и они еще кому-то нужны и что нашлись люди, слушающие со вниманием их советы и наставления.

Мужики погостили в Бельго до вечера, смотрели фанзы, амбары, запасы юколы, нарты, собачью упряжь и ездовых собак, самоловы, самострелы и копья. Они побывали около дома Хоготы, где в бревенчатом срубе сидел молодой медведь, предназначенный для угощения мылкинцев.

Прощаясь, Иван звал Айогу на Рождество вместе с Григорием и Савоськой, если те к празднику вернутся из тайги.

Затемно мужики двинулись в обратный путь. Ударил сильный мороз, мгла окутала реку, лесистые распадки по склонам сопок казались огромными синими птицами, парившими над ледяной безмолвной пустыней. Мужики кутались в шубы и тесней жались друг к другу, но мороз все же находил себе лазейку. Приходилось соскакивать с розвальней и бегом бежать за конями, только так можно было немного согреться.

Егор, отъехав верст пять и набегавшись, повалился на сено и задремал. Спал он недолго и поднялся, весь дрожа от холода. На реку спустился густой туман. Саврасый, побелевший от инея, перестукивал копытами.

– Не спи, Кондратьич, замерзнешь, – услыхал Кузнецов глухой голос Тимошки, толкавшего его в бок. – На-ка тебе!

Силин протянул бутылку. Егор пригубил. В груди его полыхнуло жаром. Федюшка тоже выпил несколько глотков, и братья, соскочив с розвальней, побежали за скрипящими полозьями. Тимошка, закутавшись в тулуп, сидел в санях неподвижно, как бурхан.

Жар горел в теле Егора, лицо жгло и ломило от мороза, дыханье перехватывало. С разбегу он опять повалился на сено. Тимошка снова достал бутыль и, потянувши из горлышка, сунул ее Егору. Кузнецов выпил, завернулся в доху и лег ничком. Голова его кружилась, теплая истома полилась в ноги и руки.

– Эй, там! – закричал вдруг Тимошка, обращаясь к передним саням. – Не спите! Какие-то навстречу едут. Слышь, собаки заливаются…

Егор прислушался. Скрипели полозья, екала селезенка у Саврасого. Конь тяжело дышал и шебаршил копытами по дороге. Откуда-то из темноты вдруг явственно донесся собачий лай.

– Берегись, Тимошка! – громко и насмешливо отозвался Иван. – Едут не наши, а чужие! Шибко едут, держись!

Лай становился все громче и ожесточеннее. Вдруг с передних саней послышались испуганные крики Федора, и сейчас же их перекрыли чьи-то чужие гортанные голоса.

– Никак встретились! – воскликнул Тимошка. Он нахлобучил шапку и, на ходу выпрыгнув из розвальней, исчез во мраке.

Саврасый остановился. В тумане послышались громкие голоса, что-то не по-русски говорил Иван Карпыч. Егор пощупал, не вылетели ли из саней обновы, что он вез жене. Нет, целы. Ну и слава богу! Он обошел сани и, проваливаясь в снег, направился по сугробам на голоса.

У передних розвальней он различил Бердышова и Барабанова, переругивавшихся со встречными. В своих огромных шубах те походили в тумане на большие соборные колокола. Они обступили мужиков полукругом, сдерживая своих злобно рвущихся собак.

– Ведь он же кричал тебе, – говорил Бердышов, обращаясь к рослому встречному.

Двое людей в шубах оттянули своих лающих собак с дороги и стали их бить.

– Чего случилось-то? – спросил, подходя, Егор.

– Вожак, кажись, укусил Гнедка за ногу… Как встретились, он захрипел и схватил его, – уныло ответил Федор.

– Не захотел с дороги свернуть! – подтвердил Иван. Заиндевевший конь стоял, понуро опустив голову. Между тем из темноты подъехали еще нарты. С них слезли двое и присоединились к толпе.

– Гляди-ка, сколько их едет, – почесал затылок Тимошка.

– Егор, бери-ка мое ружье! – сказал Бердышов.

Кузнецов схватил из розвальней винтовку. Один из встречных, небольшого роста, в пышной шубе с высоким воротником, очевидно хозяин, что-то кричал своим, по-видимому приказывая уступить.

Бердышов пристально вглядывался в него.

– Иван Карпыч, да не трожь ты их, ладно уж, поехали, – заговорил Федор, опасаясь, что начнется драка. – Может, не укусил, не видно… Что зря… Не допусти до греха, бог с ним.

Тем временем встречные быстро собрались и с криками погнали собак.

– Ишь, с пустыми нарами поехали, – зло вымолвил вслед им Бердышов. – Не отняли бы, я бы с ними сцепился, насмерть забил, – говорил он, надевая доху. – Это маньчжурец поехал, начальник их, тварюга! До сих пор они из Китая потихоньку на Амур ездят гольдов грабить. И дороги не дает, едет как начальник. Они и русских убивают, глаза им выкалывают!

Бердышов пересел к Егору, и розвальни тронулись.

– Ну, Егор, теперь согрелись, не замерзнем! – вдруг неожиданно весело проговорил Иван. – Можно ехать хоть всю ночь. – И он завалился на бок. – Маньчжурец этот ходит сюда на грабежи. Тайно албан – налог – с гольдов берет, пугает их, а они боятся – платят. Русских, говорит, всех надо убить. Если кто соболя не отдаст, уши отрежет… Раньше они летом приплывали, а теперь норовят зимой, пока полиции нет. Они к весне стойбища объезжают и зимние меха берут, а наш исправник живет себе в Софийске, не тужит. Ему хоть бы что!

– Почему собаки коня схватили? – спросил Федюшка.

– Вожак всегда хватает всякого, кто на дороге встречается. Не любят ездовые собаки, когда дорога занята. Если две чужие упряжки встретятся да ездоки недоглядят – как схватятся, начнут кататься, ну, беда, народом приходится их растаскивать.

– Слышишь, Иван, а почем ты знаешь, что это маньчжурец поехал? – спросил Тимошка. – Может, торгаш?

– Нарты пустые, да и народу много. Они помалу боятся ездить. Все равно никуда не денутся, будет время – попадутся, придет их черед. Мне бы только этого нойона встретить, самого бы главного. Уж он старик старый, рябой, а злой же – хуже медведя. Беда, как его гольды боятся. Он в прежнее время на Ливане царевал, потом уж погнали его оттуда, – усмехнулся Бердышов. – Черт его душу знает, не он ли это поехал? Может, я спьяну не разглядел…

В поселье мужики вернулись поздно. Пока они ездили, женщины выскребли и вымыли землянки, перестирали одежонку, а бабка Дарья повесила в угол на икону белое вышитое полотенце. По сибирскому обычаю стены убрали пихтовыми ветвями, и в жилье пахло свежей хвоей.

На другой день началась стряпня. Наталья напекла рыбных пирогов, а со звездой, в сочельник, Кузнецовы всей семьей помолились, выпили ханшина и попели старые песни. Дед оживился и весь вечер рассказывал ребятам сказки.

– Лунь пловет, лунь пловет, – окал он в углу, – сова летит, сова летит…

Попозже пришли Иван с Ангой. Вскоре в землянку собрались все переселенцы. При свете лучины водили хороводы, пели, плясали и разошлись глубокой ночью.

Мела метель. Снежные кудри вились под тускло светившимися окошечками землянок. Хлопья снега, падая на распаленные лица мужиков, таяли и леденели на усах и на бороде.

– Нечистый дух и в праздник покоя не дает, – жаловался Тимошка, пригибаясь и еле шагая против ветра, прячась за широкую спину Пахома.

– В праздник-то самый от него морок, – пояснил ему пьяный Бормотов. – Он тоже это дело понимает.

Егор втайне не любил праздников, всегда жалел бесцельно проходившее за гулянкой время. Тем более тут, на Амуре, где не было ни попов, ни церквей, праздники, по его мнению, были совсем ни к чему. Впрочем, он всегда старался следовать тому же порядку, что и окружающие. Видя желание семьи погулять не хуже людей, Егор не стал перечить; он съездил в лавку, взял вина, гостинцев и созвал гостей. Но даже в это время из его головы не уходили заботы о деле. Работа у него спорилась больше, чем у других. Сквозь бедность и голод Егор предугадывал впереди достаток. Вся его душа, все его радости были в труде, в стремлении к этому достатку, и лишняя поваленная лесина доставляла ему большее удовольствие, чем водка, угощения и бесконечная болтовня мужиков.

На первый день Рождества гуляли у Ваньки Бердышова, как под пьяную руку звали на праздниках Ивана Карпыча. Пахом и Тереха Бормотовы взялись корить Барабанова за то, что он сменял им на кабанину плохую муку. Слово за слово, Пахом разошелся и помянул Федору старые грехи.

– Слыхал я, пошто ты из дому ушел. Не с добра ты на Амур перекинулся! – кричал он, ударяя кулаком по столу так, что тарелки прыгали. – И тут за прежнее берешься, – стыдил он Федора при народе.

– А ты, Пахом, зря старое вспоминаешь, – заступился за соседа Иван. – Вот сказал бы этак сибиряку, из каких-нибудь не помнящих родства или ссыльнопоселенцев, и тут же с тебя бы душа вон. Чего с кем было на родине, не нам с тобой судить, а тут мы все одинаковые. Крепостных до манифеста и то освобождали, если они заходили на Амур. А мука, – хлопнул он по костлявому плечу Пахома, – какая бы ни была, дороже здесь, чем зверятина.

– Вот это ты верно сказал, – согласился Пахом, тряся бородой. – Но пошто, будь он нелад-ный, горклую-то отдал и не сказал? Сказал бы, ладно уж, все равно мы бы взяли, а то в обман ввел.

Дело чуть не дошло до кулаков. Иван утихомирил Пахома и Тереху.

На другой день после бердышовского угощения большинство гостей его болели, отравившись крепким ханшином. Однако к вечеру мужики, несколько оправившись, снова собрались пить у Тимошки.

Тимошкина жена, сухопарая Фекла, измученная работой и голодом, обычно ворчливая и крикливая, была охотница до самого безудержного веселья, словно на праздниках, под хмельком, когда забывались заботы и печали, старалась она скорей наверстать радости упущенные в бедной и скучной жизни. Несколько дней перед Рождеством она старалась изо всех сил: скребла, стирала, мыла и стряпала из скудных запасов муки рыбные пироги.

Фекла опьянела. Она пела и плясала, ее изможденное худое лицо зарумянилось, она буйно веселилась, топчась с платочком в руках по землянке, выкрикивая плясовую и не обращая внимания ни на кого, словно плясала она не перед людьми, а лишь для одной себя; большие, лихорадочно блестевшие глаза ее блуждали.

Братья Бормотовы примирились с Федором, стали обниматься, пороняли на пол дорогие Фекле глиняные чашки. Барабанов, прослезившись, клялся мужикам, будто сам не знал, что мука была прогорклой, и Пахом наконец великодушно простил ему обман.

Гости поели все Феклины угощения, выпили водку, нагрязнили в землянке, побили посуду, поссорились, перецеловались и разошлись. Пьяный Тимошка изругал и больно ударил Феклу.

Так минуло Рождество, прошел хмель и веселья как не бывало. Снова перед крестьянами были лишь темные землянки, орава полураздетых ребятишек, убогий скарб, худая одежонка и скудные запасы пищи.

Глава семнадцатая

– Ну, Ивану есть с чего гулять, он богатый, а ты куда лезешь? – упрекал Егор Тимошку. Они сидели на релке, на лиственнице, только что срубленной Егором. – Разве нельзя собраться песни попеть, сплясать да и водочку попить, но все бы ладом, не тужиться из последнего. Нет, ведь норовят все вывернуть. Ты, что ль, боишься, что на твой век веселья не станет? Ты думал бы, как робить да робить! Ан робить-то нам неохота, нам бы жар-птицу поймать в лесу. Нищие мы, жрать нечего, а на уме пьянство да гулянство. Нам бы тайгу-матушку чистить, а мы все языки чешем, кто прав, да кто виноват, да что зачем, чтобы причина нам была лодырить. Самих себя обманываем, причину находим: мол, холод ли или еще кто виноват. Языком-то чесать легче, чем робить, сомнениям-то всем твоим грош цена. Э-эх, родимцы, мужички!.. Пошто через Сибирь шагали, али чтобы испиться тут? Китаец-то этот разок-другой даст муки тебе, а после в шею погонит да долг-то обратно потребует. Кто тебе тут поможет, у кого ты милостыню просить станешь? Тут и по миру некуда пойти.

– Правда, Кондратьич! Да и то сказать, где нам с бедности-то ума набраться, кабы нам это понять! Богатый-то, сказывают, и ума прикупит, а бедный так и есть дурак дураком, – вздыхал Тимошка, глядя на ясное небо. Лицо у него маленькое, рябоватое, с клочковатой бороденкой.

– То-то! – хмурился Егор, не понимая толком, что Тимоха хочет сказать.

Подошел Федюшка с наточенными топорами. Егор поднялся, подступил к лесине и стал обтаптывать вокруг снег. После крещенья братья работали от зари до зари. Рубили лес и заготовляли дрова и бревна для будущих построек.

– Возьми топорик да пособи нам, – сказал Егор сурово.

– Дай-ка мне топорик-то, я тоже разогреюсь, – попросил Тимошка через некоторое время, глядя, как бойко и весело братья застучали топорами по березе.

Федюшка засмеялся и отдал топор Тимофею. Тот оживился и заработал с видимым удовольствием.

– А пошто же у себя не робишь? – спросил его Кузнецов, когда лесина с треском повалилась поперек лиственницы.

– Видать, застоялся ты, – засмеялся Федюшка. – Как закраснел! Живой опять стал.

– Чистил бы у себя, вот бы и ожил, а то замерзнешь, – твердил Егор.

– Никак не соберусь, – поскреб в бороде Тимошка. – Ведь я один…

– Приходи нам пособлять, а потом мы поможем тебе. Вот и будешь на людях, и работа пойдет.

– При людях, конечно, веселее работать, – обрадовался Силин, – а один я никак не могу. Как гляну я на эту тайгу, тоска меня берет: экая ведь трущоба, да разве один человек тут может? – смущенно признался он. – Я, может, оттого не роблю, что это все понимаю. Да и как возьмешься, когда все неладно? – с виноватой улыбкой продолжал он, как бы оправдываясь, что позволил себе такое откровение. – Вот теперь Фекле неможется, голова у нее болит, в глазах темнеет, кости ломит, кровь с десен идет, сама она не своя, цинга, что ль, на нее наваливается?

– У нас дедка тоже зубы изо рта таскает, – улыбаясь, вымолвил Федюшка, словно это было смешно и забавно. Для Федюшки в его скучной жизни и дедова немочь была чем-то вроде разнообразия. – Бабка его пользует, – продолжал он. – Ты спроси-ка ее. Она знает траву такую, у нее она насушена, с собой. Будто помогает.

– Это, сказывают, уж каждому надо тут цингой переболеть, никуда от нее не денешься. Лечить ее, поди, зря только время проводить. Наверно, перетерпеть надо – и все. Не стоит и лечиться.

Тимошка все же пошел к Дарье. Старуха побывала у Феклы и велела ей пить пихтовый отвар. Но, несмотря на бабкино леченье, чем теплее становились дни, тем все хуже было Фекле.

Тимошка стал работать, помогать Кузнецовым, а Егор и Федюшка каждый третий день работали на его участке. Тимоха оказался мужиком сильным и работящим. Работая на чужом участке, каждый старался, чтобы не остаться в долгу.

…Дед Кондрат стал плох и уже с трудом выходил из землянки на солнышко.

После Нового года погода стояла переменчивая. То солнце пригревало, и как будто дело шло к весне, и даже однажды в тихий день на солнцепеке подтаяли снега; Егор с Федюшкой, чистившие в этот день тайгу, слегка закраснели от свежего загара. То вдруг снова ударял мороз, как и в начале зимы, лес и реку окутывал туман, и холодные ветры осаждали поселье то сверху, то снизу. Однако морозы были уж не такие стойкие, и, если не было ветра, стоило в ясный день солнцу разогреться к полудню, как холод несколько спадал. Все же, по мнению переселенцев, январь стоял студенее, чем на родине.

Федор Барабанов после праздников старательно охотничал. Он уходил теперь надолго, ночевал в тайге.

Санка был постоянным спутником и помощником отца. За последний год парнишка поздоровел, раздался в плечах, нагулял щеки, стал смугл лицом. Он уже начал покуривать табачок, с ребятами разговаривал небрежно, поглядывая на них с высокомерием, и терся около мужиков. Во всем его обличии сквозили смышленость и пробуждающаяся хитроватость промысловика. Он ходил вразвалку, лениво и в то же время шустро поглядывал по сторонам бойкими светлыми глазами, как бы чего-то все время высматривая. На промысле он был проворен и приметлив. Ему иногда даже удавалось и такое, что не всегда мог сделать сам Федор. Умел он делать дело и помалкивать, в чем был противоположностью Федюшке Кузнецову, который хоть и старше его и на вид казался рослым, здоровым пареньком, но в душе оставался еще подростком – простым, наивным и добрым.

Побывав у гольдов, Санка и Федька устроили себе такие же самоловы, какие видели они у горбатого Баты. Однако за работой Федьке редко удавалось половить у проруби рыбку. Зато устройство махалки живо переняли другие ребята. Из обломков гвоздей они сами ковали и обтачивали крючки, раскаляя их в печках.

– Какую вы тут кузницу затеяли? – ругала бабка Ваську и Петрована, стучавших у порога. – Может, нужный гвоздь-то стащили. Тут всякая железка дорога.

– Ладно, бабка, – с сердцем отмахивался Васька, увлеченный работой.

– Я тебе дам «ладно»!.. Разве это игра? Вот схвачу тебя за вихры – будешь знать. Вон бери лопату да ступай стайку чисти. Дела полон рот, а им в забавы забавляться.

Санка Барабанов, ходивший с отцом на охоту, смилостивился над ребятами и подбил для них белку-летягу, чтобы было чем обшить деревянные рыбки, вырезанные для самоловов.

Когда Бердышова не было дома, меньшие ребята со всякой просьбой бежали к гольдке, с которой водили дружбу с тех пор, как она учила их объезжать собак.

Анга, пополневшая – она была беременна, – садилась посреди избы на пол, ребятишки окружали ее, и она помогала им ладить самоловы.

Однажды веселая ватага ребят ввалилась в землянку Кузнецовых. Плохонькая одежонка детей затвердела от мороза и запорошилась от возни у прорубей.

– Ты где это завалялся?

Наталья растолкала малышей, подбираясь к Ваське, но не договорила и ахнула, всплеснув руками. У мальчика из-под мышки торчала большая пятнистая рыба, несколько мерзлых щучек он придерживал рукой, приподняв полу шубейки.

– Ах, пострел! Никак сам добыл! – с добротой в голосе воскликнула бабка.

Васька сжал губы и гордо сверкнул голубыми глазами. Побледневшее за зиму, острое, решительное лицо его зарделось.

В дверях появился Петрован с самоловом. Важно и небрежно оглядев всех в землянке и оставаясь безразличным к радости матери и бабки и к визгу Настьки, он стал раздеваться и

как бы невзначай поставил махалку на видное место у окошка. Он разулся, повесил ичиги на большой деревянный гвоздь и полез на лавку. Остальные ребята выбежали за дверь и с криком понеслись по морозу к своим землянкам.

Все радовались добыче Васьки и Петрована. Рыба осеннего улова всем надоела, и свежая добыча пришлась кстати.

– Эх ты, кормилец ты мой! – поцеловала меньшого Наталья.

Теперь на ребячью махалку все стали смотреть совсем по-иному.

– Кто же это вам такую снастеньку показал? – спрашивала ребят бабка, трогая рыбку и крючок.

– Федюшка с Санкой у гольдов подсмотрели, да Иванова тетка нам помогла, мы к ней бегали за нитками, она нам балберы пришивала, – рассказывал Петрован небрежно, как о чем-то давно прошедшем.

– А у нас ведь на Каме тоже на ненаживленные крючки ловят, – сказал Егор, возвратившись домой и рассмотрев сыновьи самоловы. – Это, говорят, русские обучили гольдов.

– Не знаю, кто кого, русские ли гольдов, гольды ли русских, – рассудительно отвечал Петрован.

С того дня ребят посылали к проруби за рыбой, как в кладовку. Вскоре ловля щук стала для них такой же работой, как помощь отцу на релке или уход за коровой и за конем.

После рассказов ребят о том, как Анга им помогала, Наталья стала чаще бывать у Бердышовой. Она видела, что гольдка славная и добрая женщина. Анга, тяжело переносившая беременность, за последнее время особенно чувствовала свое одиночество. Русских баб она все еще несколько стеснялась. Иван пропадал на охоте, родные были далеко. Ее влекло к детям, с ними она чувствовала себя как ровня, а они были рады, что во всяком деле у них есть советчик. Но все же гольдка была одинока. Наталья, чувствуя это, потянулась к ней.

Больная Фекла все более и более водилась с Бормотовыми, которые жили большой и дружной семьей несколько поодаль от землянок Кузнецовых, Силиных и Барабановых, саженях в ста выше, ближе к старому стану. Фекле было трудно ходить на верхний конец, и она добиралась туда лишь в случае крайней нужды, но жены Терехи и Пахома Бормотовых бывали у нее постоянно, туда же захаживала часто Дарья.

Другая соседка Кузнецовых – Агафья – была женщина грубая, жесткая и завистливая. Наталья и прежде особенно с ней не дружила, хотя и встречалась с утра до ночи по многу раз. Агафья с приездом на Додьгу стала завидовать во всем Наталье: и что та хороша собой, и что Егор ее – мужик работящий, не в пример Федору, прямой, не шатающийся от одного дела к другому. Завидуя, Барабаниха по всякой малости и при всяком случае превозносила себя, своего Федора и все свое и старалась хоть разговорами о своем превосходстве уязвить соседку.

Темнолицая и скуластая, с жесткой складкой губ и низким лбом, плотная и коренастая, Барабаниха была женщиной редкой силы и здоровья. «Жала дома на полоске, – рассказывал про нее еще в дороге Федор, – шаг шагнула – и ребеночка родила». Долгий сибирский путь, во время которого она схоронила двух новорожденных, еще более озлобил ее.

Федор хотя и делал вид, что держит в семье верх, но в душе побаивался жены. На праздниках, возвратившись с гулянки от Бердышовых, он попробовал было под пьяную руку помыкать ею, но она влепила ему такую затрещину, что мужик только охнул тяжко, улегся на лавку и уж более не заикался.

Барабаниха всегда была зла на кого-нибудь по пустякам со всей силой своей могучей природы и крепкого простого ума.

К Наталье, после того как та сдружилась с Бердышовой, она особенно придиралась. Гольдка среди жителей Додьги была богаче всех, и Агафья усматривала в дружбе Натальи с ней корысть, не допуская мысли, что с туземкой можно водиться из-за чего-нибудь, кроме выгоды.

– Хитрые эти Кузнецовы, гольдячку обхаживают, – как-то поутру сказала она мужу, заходя в землянку. Она чистила курятник, стоявший в землянке, и только что вынесла помет. – Сейчас идет Наталья и несет от нее новенькие обутки, расписные, гольдяцкие. Так я и знала, что она чем-то у них поживиться хочет.

Надевши подарок Анги – новые унты, Наталья пошла по воду. Любо теперь было и поглядеть на свои ноги. Белоснежная сохатина была мелко и искусно расшита яркими нитками и бисером. Ремешки туго перехватывали голяшки, и мех прилегал плотно и красиво. Обутки были мягки, легки, как перышко, и теплы. Сильные Натальины ноги, привыкшие к грубой и тяжелой обуви, шли теперь легко, как в скороходах.

Возвращаясь с полными ведрами от проруби, Кузнецова повстречала у барабановской землянки Агафью.

– Твой-то опять седни робит? – вздохнула Барабаниха, как бы желая сказать: мол, Егор, бедняга, из кожи лезет вон, старается дорваться до богатства.

– Чего же ему не робить? – возразила Наталья, ставя ведра на тропинку. – Погода позволяет. А твой-то опять, поди, в тайгу собирается? – не без насмешки сверкнула она бойкими светло-серыми глазами.

– Да ты, никак, в обновке? – деланно удивилась Агафья. – Ну, вот и ладно, а то уж больно ты мерзла в рваных-то, жаль глядеть было. Не зря, значит, ты к Анге бегала. Видишь, и потрафила она тебе. А я не стала бы расписные надевать, – выставила она ногу в загнувшемся, подшитом кожей катанке, – этак-то теплее и красивей, чем в расписных ходить. Да и ноги в них подкатываются, – заключила она презрительно.

– Как-нибудь и в этих проходим! – Наталья подняла ведра и пошла своей дорогой. – Где уж нам стары пимы таскать! – кинула она через плечо.

После этого разговора Наталья стала чаще бывать у Анги. Иван неделями пропадал в тайге, и женщины часто подолгу бывали вместе. Наталья помогала Анге сшить платье крестьянского покроя, с оборками и лифом, и сарафан, научила ее повязываться платком на разные лады, как делают это русские бабы. За беременность гольдка располнела, лицом стала бела и румяна, щеки округлились, и скулы сгладились.

– Ты теперь на русскую походить стала, – говорила ей Наталья.

Как-то раз вечером Наталья, подойдя к бердышовской избе, увидела Ангу за странным занятием. Над Ливаном ярко светила луна, и торосы на реке горели, как костры, разложенные по льду, а лес и сопки были видны ясно, как днем. Стоя под лиственницами, гольдка держала тарелку с вареной рыбой и с чашечкой водки. Что-то приговаривая по-своему, она разбрасывала кусочки рыбы кругом себя на искрящийся свежий снег, брызгала пальцами водку и так была увлечена этим занятием, что даже не взглянула на подошедшую к ней подругу.

– Ты чего это делаешь? – внезапно обняла ее Наталья.

– Не знаю, – виновато улыбнулась Анга и поежилась, вбирая голову в красивые плечи. Потом она широким и решительным движением выплеснула остатки водки на снег, сбросила рыбу с тарелки и, нахмурившись, сказала Наталье:

– Это старый обычай. Ты не срами меня за это. Рожать-то мне скоро. Пойдем-ка богу помолимся, чтобы бог добро нам давал, – и тихо, таинственно добавила: – Чтобы нам всем ладно было.

– За что же тебя срамить, бог с тобой…

Бабы вошли в избу, засветили сальную свечу и встали на колени перед маленькими медными складнями.

– Молитва говори, – велела Анга, подымая взволнованные глаза к божничке.

Анга крестилась, низко кланялась и, коверкая славянские слова, старательно повторяла молитву. Когда же Наталья смолкла, она поднялась проворно и спросила:

– А другой-то молитва знаешь?

– Знаю.

– Ну, другой молитва другой раз молиться станем, сегодня, однако, хватит.

– Тебя кто молиться-то учил? – спросила ее Наталья.

– Батька учил, а Иван плохо молится…

– Известно, мужик: гром не грянет, лба не перекрестит.

– Ваша бабка учила. Она много молитва знает, а Иван-то мой плохо знает, он ничего не знает.

Иногда женщины привозили в нартах кадушку воды, переливали ее в печной котел, жарко топили печь и мылись. До переезда на Додьгу Анга мылась редко. В детстве и в юности, до встречи с Иваном, она совсем не знала мыла. Когда-то, первые разы, купалась она неохотно, но со временем вошла во вкус и теперь с упоением плескалась и обливалась водой. Когда Наталья растирала ей длинную смуглую спину, она приходила в восторг и хохотала.

Потом бабы одевались, приводили в порядок избу, ставили сушить корыто и садились ужинать ухой из свежей рыбы, которую Иван выловил подо льдом снастями и наморозил в амбарушке.

Возвратившись с охоты, Бердышов был приятно удивлен переменой во внешности жены.

– С обновкой тебя, что ль? – вымолвил он, высунув поутру лохматую голову из-под мехового одеяла и глядя, как жена обряжается в сарафан. – Поди-ка, щипну тебя.

– А Наталья – боец, – говорил он, натягивая на ноги усохшие за ночь ичиги. – Надо нам с тобою уважить Кузнецовых, гостинца, что ль, ей послать.

– Сохатины-то нету… – Анга расчесывала деревянным гребнем густые сбившиеся волосы. – Однако бы, ангалкой[36] рыбы наловить им.

– Одолжить им, что ль, снасти? – в нерешительности спросил Иван. – Пусть ловят. И сетку дам, ведь они мне сказывали, что на родине ловили подо льдом рыбу.

– А может, Ванча, к китайцу бы нам поехать? Наталье-то товару взять?

Анге давно хотелось побывать дома, но причины не было, чтобы поехать в Бельго.

– Ну нет, к китайцу не поеду, – отмахнулся Иван. – Товар-то им дарить не жирно ли станет?

Анга с сожалением покачала головой. Усевшись на корточки перед очагом, она сложила туда дрова, занесенные в избу с вечера, и стала щепать из сухого полена лучины.

– Ваня, а пошто ты меха ныне у себя держишь, в лавку не везешь? – спросила Анга, склонив голову и лукаво смеясь из-за плеча.

– Маленько обожду. Считай сама: до Рождества я Ваньке Галдафу соболей давал, за ним еще оставалось, а чего набрал к празднику, так это пустяки. Куда мне теперь торопиться? Не к спеху, а у них и без меня мехов хватает. Соболь пошел хлестко, гольды им полные амбары натаскают. Дал я им задаток пару соболей, теперь они шишей от меня дождутся. Беда! – вдруг ухмыльнулся Бердышов.

– Ты задумал чего? – мягко и счастливо засмеялась Анга. – Однако, чтобы Гао тебя только не обманули…

– С них станется, – вздохнул Иван. А голос был насмешливо-самоуверенный, и Анге казалось, что вышло у него: мол, так я и дался!

Анга догадывалась о намерениях мужа.

Чтобы китаец ничего не подозревал, Иван дал ему из ранней добычи пару соболиных шкурок, из которых одна случайно была попорчена при снятии. Уже тогда у Ивана в запасе был десяток соболей. И потому, что он отнес в барабановскую землянку лишь пару, не пожалев к испорченному приложить пушистого и черного, Анга почуяла, что муж ее что-то затевает…

[36] Ангалка – сетка (нанайск.)

В амбаре у Ивана стояли ящики с водкой, Иван ни жене, ни тестю толком не рассказывал, что он задумал. Он всегда все свои предприятия начинал втайне и только при таком условии верил в их успех.

После обеда Бердышов зашел к Кузнецовым.

– Тебе свежей рыбы надо? – обратился он к Егору.

– Мало ли чего мне надо, – возразил тот.

– Эх ты, рыбак! Как же ты на Амур без снастей пришел? А говоришь, на Каме тоже всякий лов ведется. Нет, кабы там было так же, как тут, что эта рыба-матушка нам и хлеб и мануфактура, ты без снастей никуда бы не тронулся.

– Два-то года мы, чай, не по реке шли. В степи или в лесу ловить-то было неводом?..

– А разве в степи нет реки?

– Нету.

– А я всю жизнь при реке, так мне кажется, что и мест без реки не бывает. Калужатины сейчас бы нам с тобой, амуров ли этих. Самая жирная рыба амуры-то. Бери-ка, Кондратьич, пешню и айда на реку. Жалко, Федор куда-то пропал, а то бы и его взяли. Ты собирайся, а я за снастью да за ангой схожу – не за женой, а за сеткой. Вот она у меня каким именем названа. Чудилы эти гольды, девку «сеткой» назвали… Я спросил как-то Григория: «Ты пошто ее так назвал?» – «Как же, говорит, пусть сеткой зовется, чтобы счастье ей ловилось».

Накануне из тайги подул ветер. Ночью он переменился, и с верховьев опять нагнало холода. День был сумрачный, и даже в полдень стоял трескучий мороз.

– Ненадолго же отпустило. А мы-то полагали, что весна началась, – говорил Кузнецов, шагая с пешней следом за Иваном и за Федюшкой, нагруженными разными рыболовными снастями.

– Не-ет, до весны еще далеко. Тут до шуги-то еще одна зима пройдет.

Неподалеку от острова Иван и Егор проломали старые проруби, выгребая льдинки берестяной чумазкой[37].

– А ты, Иван Карпыч, откуда знаешь, что тут рыба есть? – спросил Федюшка.

– Как же! Это уж я знаю. Я тут все тропинки в Амуре знаю.

В крайней проруби Бердышов утопил веревку, а из другой зацепил ее «нырилом», длинной палкой с сучком на конце, наподобие багра. Протянув веревку подо льдом между несколькими прорубями, он продернул следом за ней сеть и установил ее. Так же Иван поставил и снасть – длинную хребтину с ответвляющимися от нее поводками. К этим поводкам прикреплены были балберы и большие ненаживленные крючки с остро отточенными лезвиями, рассчитанными на поимку крупной рыбы.

Когда мужики возвратились в поселье, солнце уже село, и где-то в стороне Бельго из синего сумрака выплыла меж склонов большая багровая луна, перепоясанная тонким синим облаком. Морозный ветер так нажег и настудил рыбаков, что у Егора окоченели ноги, и он не помнил, как добрался до жаркой и душной землянки.

– Нос отморозил, потри-ка снегом, – сказала мужу Наталья, когда он выложил из мешка пару осетров.

Егор вышел из землянки, надломил голой рукой корку на сугробе, набрал в застывшие пальцы горсть крупитчатого сухого снега и растер им лицо до боли. Однако поздно было оттирать побывавшее в тепле лицо. Обмороз не проходил. Пришлось бабке после ужина помазать ему щеки кабаньим салом.

– Как же это ты недоглядел! – говорила Наталья. – Теперь лицо мерзнуть станет.

– Завтра бери чепан, да езжайте на коне, – наказывал дед. – Поди, и огонь на льду развести можно.

---

[37] Чумазка, или чумашка – берестяной черпачок.

На другой день мужики запрягли Саврасого и поехали на реку. На снасть попала крупная калуга. Подтянутая к проруби, она заходила ходуном. В водовороте то и дело всплывали ее бьющиеся плавники и жирная спина с зубчатой хребтиной. Калуга ярилась, но острый крючок, вонзившийся глубоко в белое брюхо, не отпускал ее.

– Кабы не сорвалась, – беспокоился Егор, крепко держа веревку.

– Не-ет. На утине-то зазубрик, никуда не соскочит с него. Только шибко не давай ей дергаться, подпускай снастину-то…

Бердышов изловчился, вонзил в калугу багор. Рыба забилась, вышибая столбы брызг из проруби. Ветер, схватывая их, тотчас морозил, и одежда мужиков покрывалась чешуей из пупырчатых ледяшек, а вокруг проруби намерзала скользкая ледяная осыпь.

– Смотри, Егор, не оступись, а то утащит. Ну, что же ты дуришь? – уговаривал Иван бьющуюся калугу, вытаскивая ее на лед. – Сама себе в тягость стала, так разожралась. Столько жиру зря таскать – с ума сойти!

Калуга была хрящеватая и жирная, величиной с небольшую лодку-однодеревку. Взметнув хвост и заиндевелые плавники, она ощерила пасть, оттопырила жабры и выкатила глаза. Рыба застыла в напряженном изгибе, сгорбатив пилообразную хребтину, словно силясь сбросить с себя ледяную корку. Казалось, мороз мгновенно охватил ее, запечатлев исступленное отчаяние. Мужики с трудом, как тяжелое бревно, взвалили рыбину в сани и вместе с мелочью, попавшейся в сетку, отвезли в поселье.

Там было радости и веселья всем семьям. Иван и Егор распилили калугу на козлах, потом большие куски разрубили.

У переселенцев вошло в обычай делиться между собой всякой добычей. Наталья выбрала для Барабанихи самый жирный кусок и сама его отнесла, обезоружив этим завистливую бабу, не пожелавшую даже поглядеть, как рубят громадную рыбину.

По Иванову совету кузнецовские бабы вместе с Ангой затеяли пир. Решили стряпать калужьи пельмени и варить уху. В землянке было людно, шумно и весело.

Бердышов пошел за водкой. Даже Егор, на этот раз намерзшийся и наработавшийся досыта, чувствовал, что утро он провел не зря, и не прочь был выпить и повеселиться. Умывшись и вытерев обветренное лицо полотенцем, расчесав светлые усы и бороду, сидел он на лавке и поджидал Ивана.

Варится рыбка, едет Филипка, – подпевала под веселый треск лиственничных дров хлопотавшая у котла старуха.

В красной шапке, сам на лошадке,
Детей своих благодарить…

Больше всех доволен был хворый дед, ожидая, что от свежей и нежной рыбы ему полегчает.

– Эх, хороша ушица! – приговаривал он за обедом, прихлебывая из чашки.

– Из щуки-то вкусней, – вдруг с сердцем выпалил Васька.

Все засмеялись упорству маленького рыболова.

– Васька, обидно тебе, что мы калугу поймали, застрамили тебя с твоей махалкой и со щуками? Эх ты, ерш! – ткнул его Иван в бок.

– А ты чего дразнишься? Сам ерш! – Голубые глаза Васьки запалились злым холодком. – Вот захочу, наловлю осетров… – Парнишка тут же смолк, ухватившись за голову: отец стукнул его по лбу деревянной ложкой.

Петрован по-прежнему казался ко всему безразличным. Уплетая калужатину, он лениво морщился, косясь внимательными серыми, как у матери, глазами то на пьяневших, смеющихся взрослых, то на крепившегося, чтобы не зареветь, братишку.

– Ну, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? – дразнил его Федюшка.

Глава восемнадцатая

Соболь неумелым ловцам не давался. Единственной шкуркой раздобылся Федор Барабанов, вытащив убитого стрелкой зверька из чужой ловушки. Бердышову он сказал, что сам поймал соболя. Шкурка была рыжеватая, как и большинство амурских соболей; Иван оценил ее в три рубля. Федор отвез соболя в Бельго и выгодно променял китайцу на товар.

Легкость добычи распалила Федора. Он спал и видел удачное соболевание. Целыми днями бродил он с сыном по окрестной тайге, разыскивая соболиные следы и расставляя петли и ловушки. Он похудел, осунулся, скулы его заострились, а глаза поблескивали, как у голодного.

– Что, Федор, с добычей, что ль? – каждый раз окликал его Кузнецов, когда Федор с Санкой выходили из тайги.

– Не спрашивай, Кондратьич, – удрученно отмахивался Барабанов и останавливался.

Намолчавшись в тайге, он принимался долго и подробно рассказывать все свои приключения.

– Замаешься ты, гляди, лица на тебе не стало, – заключил Егор, выслушав его. – А тут Агафья одна без тебя лесины валила, робит, чисто мужик. Ты сам-то как, хлеба станешь ли сеять? Не перекинься совсем на промысел.

– Как же я без хлеба-то, куда же?..

– Тайгу, что ль, сохой поведешь? Избу из чего поставишь? Да и место не расчищено, солнышко-то не станет тебя ждать, Кузьмич.

– Затягивает охота, – говорил про Федора дед Кондрат. – Это как картежная игра. Продуться можно – без штанов останешься.

Каждый раз, намучившись в тайге, Федор зарекался охотничать.

– Пропади пропадом это зверованье, ни за что больше не пойду, с места мне не сойти, – клялся он и решал взяться за чистку леса.

Но проходило несколько дней, и Федора снова тянуло в тайгу. Он бросал работу, заготовлял припасы, чинил обувь и, набив котомку рыбой и сухарями и забравши с собой Санку, снова отправлялся на промысел.

Усталые, пробежав двадцать – тридцать верст на лыжах, Барабановы находили свои ловушки пустыми.

– Он, тятя, стороной обошел, – показывал Санка на обходной соболиный следок.

– Вижу, – вздыхал Барабанов и в печали рубил пихтовые ветви, разгребал снег и располагался отдыхать подле костра.

– Хоть бы нам опять гольдский лучок найти, – подговаривался Санка.

– Хитрый же ты, сукин сын, растешь, – ворчал на него отец. – Ты поймай соболя-то, а чужого стащить всякий сумеет.

В неудачах своих Федор в душе винил Бердышова, подозревая, что тот таит от него настоящее устройство ловушек и показывает не то, что надо.

– Может, он шутит надо мной, изголяется или боится передать настоящее правило и только зря меня по тайге гоняет, – предполагал Федор.

На то было похоже. Иван каждый раз высмеивал его за неудачное соболеванье.

– Опять никого не поймал? – с насмешливой уверенностью спрашивал он.

– Ведь и ходил соболь, трогал петлю и стрелку спустил, но не попал, – с досадой рассказывал Барабанов. – Значит, чего-то не так мы настораживаем, – значительно вскидывал он брови. – Не все, что ль, ты мне рассказывал, Иван Карпыч? – Он умоляюще смотрел на Бердышова, словно просил его открыть тайну лова соболей. – Скажи: может, какое слово есть?

Иван лишь посмеивался.

– Прошлый-то раз посчастливилось тебе, это прямо счастье ить! Однако, какой-то соболь дурной был. А то в твои ловушки заместо соболей-то все рябчики, да крысы, да бурундуки попадают.

– Помяни мое слово, Иван Карпыч, все же я этих соболей осилю. Не сойти мне с места! Коли не перейму от людей, так сам, своим умом достигну. Тогда уж засоболюю. – И Федор, меняя выражение лица, спрашивал Ивана ласково и умоляюще: – А может, возьмешь меня с собой на охоту?

– Вдвоем в тайгу идти – охоты не будет. С Ангой хожу – ее тоже в балагане оставляю, или она сама по себе охотничает. Да как с тобой пойдешь? А если вдруг тигра? Не выдашь? У нас, паря, кто товарища выдал – тому пулю. Ты со мной и сам ходить не станешь, а уж я тебе и так все показал! Какой тебе еще холеры надо?

Федор не добился от Бердышова толку и решил ехать к гольдам учиться у них охоте на соболей. Кстати, нужно ему было заехать к китайцу в лавку, отдать лис и десяток белок.

В тихий день, заложив Гнедка в розвальни, покатил он с Санкой в Бельго.

– Еще соболь есть – нету? – спросил его Гао, перебирая привезенные меха.

– Нету, братка, эти дни соболевать я не ходил.

Торгаш знал, что Федор ходит на промысел. Гао даже догадывался, что он взял соболя из чужой ловушки. О том, что делают додьгинские новоселы, лавочнику подробно доносили его покупатели – мылкинские гольды, соседи уральцев. Недавно брат Гао, толстяк Васька, был в Мылках, и тамошний богач Писотька Бельды жаловался, что у него в тайге кто-то разорил самострел и украл соболя. Охотники ходили по следу воришки и достигли додьгинской релки. Подходить к землянкам они не решились, но, возвратившись к себе в Мылки, поклялись при удобном случае отомстить новоселам за все обиды и утеснения, причиненные им в эту осень и зиму.

Бердышова ни гольды, ни китаец не подозревали в воровстве. Все знали, что он охотится, как гольд, и в тайге ничем от них не отличается. Гао Да-пу полагал, что это был Федор, незадолго перед этим привозивший ему шкурку соболя. Торговец никому об этом не сказал, чтобы зря не обидеть покупателя, распространив про него дурную весть.

На счастье Федора, между Мылками и Бельго были нелады из-за кражи невесты, и сношений между этими стойбищами не было. Мылкинские сторонились бельговских и своих новостей им не передавали, так что бельговские ничего худого про Федора думать не могли и не знали о краже в тайге.

– Тебе соболь лови не могу, – язвительно и громко заявил китаец.

– То есть как это ты сказал?

– Люди говори: тебе сам лови не умей, тебе шибко хитрый – чужой ловушка трогал.

– Ты что это? – раскрыл Барабанов рот. – Одурел? – криво усмехнулся он через силу, хотя сердце его замерло от страха, что поступок его может стать известен по всей округе. «Господи, прости! Что я наделал!» – с ужасом подумал он, и мысли его заметались в поисках исхода.

– Ловушку трогаешь – хозяин догоняет и тебя убьет, – наставительно говорил торгаш.

– Не пойму я тебя, – чесал затылок Федор, стараясь улыбнуться, но вместо улыбки получилась виноватая гримаса.

Лавочник заметил, что вору стало не по себе.

«Нет, не признаюсь! Я не я, и лошадь не моя, – ободрял себя Федор. – Мало ли кто в тайге мог взять? Какое мое дело, ничего не знаю».

– Сам знаешь, чего моя говори, маленький, что ли? Русский язык не понимаешь, что ли? – раскричался китаец и вдруг, понизив голос, довольно добродушно заявил: – Ну, ладно, не бойся, моя никому не говори. Тебе так больше делай не надо. Моя знакомых не обижает, – подмигнул он Федору. – Моя все кругом знает – ничего никому не говорит. Тут Бельго никто не

знает, моя никому не сказала, тебя не хочу обижай. Давай лису, уступай дешевле, – неожиданно заключил он.

«Силен тут торгаш!» – подумал Федор, выбравшись из его лавки, как из печки после парки. Удрученный неудачной меной и упреками лавочника, он в раздумье направился к Удоге.

Старик встретил его с распростертыми объятиями. Накануне Удога вышел из тайги после длительной зимней охоты, чтобы запастись пищей и снова идти на промысел. У него было прекрасное настроение, старик наслаждался семейным счастьем; сидя на теплых канах в чистом халате на чистом камышовом коврике, сплетенном искусными руками молодой жены, он держал у себя на коленях маленького Охэ и с нежностью обнюхивал его стриженую головку. На столике появилась вареная сохатина, тала из свежей рыбы, чумизная каша с кетовой икрой и картонная сулея с китайской водкой.

Айога, довольная, румяная, с блестящими глазами, хлопотала у очага.

Федор подвыпил, и когда его беспокойство и сомнения несколько пережгло крепким ханшином, он стал жаловаться Удоге на свои охотничьи неудачи.

– Соболь никак мне, братка, не дается. Лису беру, белку дробинкой в глаз попадаю, – привирал он, – кабана этого возьму, только бы встретить, рысь понимаю, всякого зверя, а вот соболя – никак. За всю зиму единую шкурку добыл, только зря распалился.

– Его просто как возьмешь не умеючи-то? – с достоинством, чистым языком говорил Удога. – Соболя ловить – учиться надо, не легче, чем русской грамоте. Меня отец долго учил стрелку ставить. Я был маленький, пошли однажды на охоту, снежок уж был. Зверь опустит стрелку, но в сторону…

– Вот, вот, – подхватил Барабанов, – то-то и есть…

– Надо прямо-прямо на грудь стрелку наводить, – наставляя на сердце палец, показывал гольд.

– А-а, ишь ты! – приговаривал Федор. – Вот оно что!

– Ладили мы, ладили концы на мерку. «Нет, – отец говорит, – плохо». Палкой хотел меня лупить. «Никуда не годишься, говорит, никогда охотником не станешь». Вечером сидим мы в балагане, отец курит, грозится меня убить. Беда, – потряс гольд седой головой точно так, как это делал Иван, – горячий у нас отец был. Ну вот… Прошло три дня, на мою стрелку соболь попал. «Ну, слава богу, – отец говорит, – это я тебя учил, ты умный какой парень. Сразу видно, что мой сын!»

– Григорий Иваныч, ты бы взял меня с собой на промысел, учил бы ловить соболей, – стал просить Федор. – По правде ведь признаться, мы затем и приехали. В ученье к тебе с сыном, как к дьячку за грамотой.

К Удоге стали собираться его сородичи. На этот раз все охотники были дома. После долгих скитаний по тайге они возвратились, чтобы хорошенько отдохнуть, «погулять», побыть с семьями и, нагрузившись юколой, снова двинуться на отдохнувших собаках в тайгу.

Кроме Григория и его брата Савоськи, бывшего в этот день где-то в отлучке, Федор не знал еще никого из бельговских охотников и всех их видел впервые. За зиму он отвык от народа и теперь с любопытством наблюдал гольдов. Их набралось непривычно много, и старых и молодых, закаленных морозами и ветрами, темнолицых, худых, в одеждах, пахнущих звериным салом, чесноком, псиной и табаком, с китайскими трубками в крепких зубах. Они принесли с собой в тихую фанзу дух тайги и охоты; чувствовалось, что в этих сухопарых, подвижных зверобоях была вся напряженная сила племени, его вечная, неумирающая ловкость, сноровка. Перед Федором был живой клад охотничьих примет, уловок, навыков. Для них не существовало тайн тайги. Мужику надо было разузнать про многое такое, что озадачивало его на промысле и на что он не мог найти до сих пор ответа. Он силился вспомнить, о чем надо расспросить их, но, как на беду, мысли его разбегались от жадности, как завидущие глаза при виде богатства, и он не мог ничего расспросить толком.

Пришел Ногдима, приземистый, пожилой, но еще моложавый на вид старик с плоским темным лицом. Его черные как смоль прямые волосы и черные горящие глаза придавали ему вид дикий и жестокий. Глядя на него, живо представлялось, как он, сверкая глазами, гоняет по снегам зверя и, настигнув, бьет его копьем в горло.

Ногдиме перевалило за шестьдесят, но он был еще крепок, и на черном лице его морщин не было видно, лишь еле заметные светлые бороздки легли поперек лба, да слабые морщинки лучились у глаз.

Появился седоголовый, больной глазами Хогота, о котором Федор уже не раз слышал как об отце похитителя невесты и хозяине медведя, предназначенного в угощение мылкинским. Сын его Гапчи, рослый и здоровенный парень в маньчжурской шапке с бархатным околышем и в красном ватном халате, в который он вырядился по случаю приезда русского гостя, торчал тут же. Еще недавно Гапчи был грозой мужей и похитителем супружеской верности гольдских красавиц. Но после того как он увез из Мылок юную жену богатого старика, он сам стал ревнив и уж более не нарушал счастья и покоя чужих семей.

Явился приятель Удоги – Кальдука, по прозванию Маленький. Скинув лисью шубейку, старичок остался в залоснившемся дабовом халате с серебряными пуговицами и в улах из рыбьей кожи. Его маленькая головка с жалкой пегой косичкой тряслась на слабой шее, круглое желтое личико Кальдуки с мелкими расплывчатыми чертами выражало легкомыслие и беззаботность, движения были мягки и округлы. Улыбаясь и кивая головой, он подал Федору маленькую руку в кольцах и присел против него за столик.

Кальдука был вечным нахлебником Удоги. Про него говорили, что он прожил жизнь чужим умом. В юности он был парень как парень, только не удался ростом. Старики женили его неудачно, купив ему по дешевке вдову. Она оказалась женщиной грубой, терзала Кальдуку ссорами и капризами, всю жизнь воевала с ним из-за нарядов. Первый ее ребенок был мальчик, но впоследствии она рожала только девочек. Сын Кальдуки погиб уже взрослым на рыбалке, и старик остался в большой семье единственным охотником. Жил он бедно и небережливо. Выдавая подросших девочек замуж, он ненадолго богател, но вещи и ценности, полученные в калым, живо переходили от него к торгашам.

При удаче Кальдука любил попьянствовать, вкусно поесть. Не думая о будущем, он ловил удобный случай, чтобы набрать у торгашей как можно больше товаров, и вечно был в неоплатном долгу. Выручать же его приходилось Удоге или другим сородичам, которые по доброте не могли отказывать ему в помощи, хотя и попрекали потом Маленького в расточительности, в лени, в неумении жить. Впрочем, на Кальдуку эти попреки давно не действовали. За долгую жизнь он привык и к помощи родичей и к их попрекам и надеялся на них больше, чем на себя.

Федор вспомнил, как Иван Карпыч однажды, рассказывая ему про причины бедности гольдов, помянул про Маленького. По его словам выходило, что туземцы могли бы жить и лучше и богаче, не будь среди них таких мотов и бездельников, как Кальдука, привыкших жить попрошайничеством, разоряя зажиточных сородичей.

Охотник Кальдука был приметливый, но не крепкий. В добыче он отставал от других, да у него и не было никогда надежды прокормить промыслом себя и всю свою семью. Обыкновенно его забирали с собой в тайгу хорошие охотники, чтобы он вел их хозяйство в балагане и готовил пищу. За это давали ему часть добычи. Зато летом Кальдука блаженствовал. Женщины работали за него на рыбалке от шуги до шуги.

Приплелись древние старики, знакомцы Федора: горбатый Бата и слепой Бали.

Вскоре вернулся Савоська, ездивший на собаках на другой берег ловить рыбу в прорубях. Еще задолго до того, как он переступил порог, слышна была его русская брань и удары палкой по собакам. Айога побежала распрягать воющих псов, и вскоре в облаках пара появился Савоська, небольшого роста, сухой и сутулый, в заиндевелой, словно заросшей белым мхом, одежде.

Он быстро скинул с себя заиндевелые кожаные обутки и живо отсыревшую в тепле куртку и, вскочив на кан, начал кашлять долго и хрипло. Кашель, вылетая со свистом из простуженных легких, сотрясал все его щуплое, жесткое тело. Наконец Савоська откашлялся, коротко кивнул головой Федору и, подсев к коротконогому столику, стал пить маленькими глотками водку из чашечки и жаловаться на боли в груди. Застывшее тело старика бил озноб, его маленькие жилистые руки дрожали.

Удога заговорил с братом по-своему, часто упоминая слово «лоча»[38]. Остальные гольды пыхтели трубками и лишь изредка прерывали беседу братьев короткими замечаниями. Федор печально слушал гольдов и уж собирался было повторить свою просьбу, когда Удога вдруг обернулся к нему и сказал:

– Вот братка завтра сведет тебя в тайгу, все покажет, он все знает.

Переходя с гольдского на ломаный русский язык, туземцы заспорили между собой, куда и как лучше повести Федора на охоту.

Каждый называл какое-нибудь место: ключ, сопку или падь. Так проспорили они долго, а Федор только удивился, как добродушны и покладисты эти свирепые на вид люди. Спорили они горячо, и каждый, по-видимому, от души хотел удружить ему. И удивительно было Федору, что в их добром отношении к себе он не замечал никакой корысти.

Между тем Санка, наевшись чумизы, откинулся к стене и, устало полузакрыв глаза, с любопытством следил за Савоськой. Разморясь в жаре и непривычно насытившись, сынишка Барабанова давно бы уснул, если бы не этот живой и шутливый старик, иногда смешно коверкавший русские слова. Однако Санка был недоволен, что именно Савоська – больной, иззябший и уставший старик – поведет их в тайгу. Он совсем не казался ему хорошим охотником.

Когда же Савоська подвыпил и стал ругаться по-русски и хохотать надтреснутым смешком, переходившим в кашель, Санке показалось, что смеется он нарочно, только чтобы позабавить народ, и ему стало жалко старика.

«Какой чудной этот Савоська!» – подумал Санка, засыпая. Шум голосов стал отплывать. Санка пошел куда-то по лесной тропинке за Савоськой, потом плавно и мягко провалился куда-то в пропасть и вскоре забрался так далеко, что возврата оттуда не было.

Наутро Савоська разбудил Барабанова затемно. Собирая свой охотничий припас, он проворно бегал из фанзы в амбар, переодевался в белую охотничью одежду из лосиных шкур, лазил под крышу, вскакивал на кан и все чаще тяжело кашлял.

Охотники собрались быстро и молча, надели котомки, ружья, вынесли на снег лыжи. Савоська кликнул свою лохматую подслеповатую собаку, и все трое тронулись по бельговскому распадку к седловине.

Собака сильно прихрамывала и время от времени прыгала на трех лапах, держа левую переднюю на весу.

– Что это с ней? – спросил у гольда Санка.

– Медведь ей лапу ломал. Потом шибко мороз был, она мало-мало больной лапа отморозила. Такой другой собаки нигде нету, она все понимает, как человек, только говорить не может.

За день Барабановы пробежали за Савоськой верст двадцать. Гольд привел их к зарослям стелющегося кедра у вершины каменистого хребта. Через ущелье видно было, как далеко-далеко за складками сопок белой равниной расстилался Амур.

– Тут соболь живет в норе. У него своя дорога есть, он только по этой дороге всегда ходит. Белку, мышь сам убьет, сам таскает и сам кушает. Вот его дорога, смотри, – показывал старик на соболиные следы. – Шибко далеко этот соболь не ходит, по своей сопке ходит. На большой сопке три пары живет, на маленькой – одна пара бывает.

---

[38] Лоча – так называли русских народы Дальнего Востока.

Старик закрепил на расщепленном деревце лук с прикладом так, что он туго натягивал тетиву. К прикладу он прикрепил вязку из конских волос. Клубок таких вязок вместе со свитками волос и с оленьими жилами гольд хранил в особом мешочке. К тропке соболя спускались сверху несколько волосков. Концы их на уровне соболиной грудки перехвачены были малым волоском, который чуть заметно ложился поперек тропки.

– Соболь бежит, – говорит Савоська, – Этот волосок тронет, стрелка его убьет. – Гольд тронул волосок палкой, тетива сдвинулась, стрелка с силой воткнулась в сугроб, а лук закачался на ветке.

Самострелы Федор с грехом пополам сам умел делать, но хитрость была в точном прицеле стрелы на грудь зверька и в поперечном волоске, который следовало наводить так, чтобы он был незаметен соболю. Федору казалось, что он уже постиг тайну устройства самострела, но грубые руки его никак не могли точно навести поперечный волосок.

– Ничего не понимаешь! – сердился Савоська. – Зря с тобой хожу. Ты все равно какой был, такой и есть!

– Дай-ка, тятя, – вызвался насторожить самострел Санка.

Ловким ударом топора он расщепил елку, зажал приклад, навел стрелку на тропку, наладил волосок и обратил шустрые глаза к Савоське, как бы испрашивая у него одобрения.

– Соболь если попадется, тогда узнаем, молодец ты, нет ли, – произнес гольд и, оставив лук, побежал дальше короткими шажками, переваливаясь с лыжи на лыжу.

Лучки он делал на ходу. Видя след какого-нибудь зверя, он обегал растущие поблизости ели, разыскивал на них природные изгибы, обращенные к северу, быстро вырубал из них луковины и натягивал их, перевивая концы оленьими жилами. Следуя за ним повсюду, Санка стал отличать деревья, годные для поделки лучков.

Вечером под ветвями огромного старого кедра охотники разгребли снег и развели костер.

В тайге было тихо. Огонь освещал красноватую кору кедра, несколько лип на увале и лыжи, стоймя воткнутые в сугроб.

Савоська сказал, что не признает никаких балаганов, так что Федору и Санке предстояло дремать всю ночь, привалясь к кедрине и поворачиваясь к костру то одним боком, то другим.

Гольд сидел на корточках близко к пламени и жадно грыз сухую юколу, разрывая ее пальцами и зубами. Отогревшись, он снова удушливо закашлял, дрожа всем телом. У ног его лежала хромая Токо и облизывала свою черную уродливую лапу. Время от времени Савоська давал ей кожу от юколы. Собака жадно хватала ее и мгновенно проглатывала. Изредка она оборачивалась к Санке, и тот, заигрывая с нею, совал ей в морду тугую сохатиную рукавичку. Токо урчала и скалила на парнишку свои крупные волчьи клыки, а тот улыбался умильно и поглядывал на отца, не то опасаясь, что Федор рассердится, не то приглашая его порадоваться.

– Бродяга-медведь ее лапу совсем испортил, – сетовал Савоська. – Когда самый мороз был, его кто-то напугал. Медведь берлогу бросил, пошел кругом. А я его встретил и погнал. Зверь шибко злой был, как хунхуз! Медведь тоже бывает хунхуз!

Отбиваясь от собак, зверь хватил лапу Токо зубами. Собаке грозила смерть, если бы Савоська в тот же миг не вонзил в сердце медведя пику,

– Тебе тоже хорошую собаку надо, – назидательно говорил гольд.

– Вот то-то и оно! Да где ее взять?

– Учи, сам учи, собака все может понимать. Она – как человек. Наши старики говорят, что собака раньше давно-давно человеком была, только теперь у нее шкура другая. Медведь тоже был человеком. Ночью ты спишь, а он ходит. Тигр, говорят, тоже был человеком. Такие разные сказки есть, – таинственно продолжал он. – Кто на охоту ходит, должен знать. Друг другу рассказывать. – Старик засмеялся и повесил голову. – Буду тихо говори, тут в тайге хозяин скоро чертей гоняет… – Санку мороз продрал по коже. – Тут не шибко хорошее место. Старики говорят – тут дурное место, тут амба исиндагуха бывает. Знаешь, что такое амба исин-

дагуха? Это обход чертей. Черти караул несут, как солдаты. Надо всю ночь сказки говорить, тогда ничего.

Гольд достал из-за пазухи лубяную коробку с табачными листьями, набил дрожащими руками трубку и закурил.

«С этими соболями не без нечистого, чуяла моя душа! – думал Барабанов. – Ванька Бердышов, будь он неладен, однако, гольдяцким божкам в тайге молится. То-то и не хочет с собой никого брать, стыдно ему».

– Савоська, – задушевно, как бы по-приятельски, заговорил он, стараясь придать своему голосу побольше ласковости, – вот ваши говорят, надо в тайге черту угощение ставить. А мне не надо бы этому Позе кланяться, лучше бы мне своему богу помолиться. Чужой-то мне ни к чему. Это ведь грех по-нашему. Ты сам крещеный, должен понимать.

– Тебе соболь надо – нет? – вдруг закричал Савоська, быстро вскакивая на ноги. Обутые в белые олочи[39], они были как тонкие кривые березки. – Зачем говоришь? В тайгу ты зашел, соболя тебе не надо?

«Шаманом, что ль, обернулся, пугает, сверлит глазищами-то… Индо, черт с ним… помолиться, как велит», – испугался Барабанов.

– Тебе Позя молись – завтра твой лучок будет соболь, – твердил гольд.

«Кабы правда, поймать бы соболя, черт его бей, – помолился бы, пустяки это конечно. Но, шут его знает, вдруг не помолишься и добычи не будет?» – раздумывал Федор.

– Ты верно ли знаешь, что соболь поймается? – подловато глянул он на гольда, как бы торгуясь с ним.

– Давай скорее, хлеб у тебя есть – хлеб кидай, все равно сухари можно. Говори: «Мне соболя давай!» Проси его как надо, сам думай, чтобы хороший охота была.

«Разве рискнуть? – подумал Федор. Но ему неловко было перед сыном отступать от закона. – Да и беда будет, если поп узнает на исповеди – епитимью наложит».

– Молись, тятька, – вдруг шепнул Санка, которому до страсти хотелось отличиться и найти зверька в своей ловушке.

– Ах ты бесенок! – отпрянул от него отец. – Тебе бы только соболя, с малых лет рад от всего отступиться.

Беседа прекратилась. Санка еще немного повертелся у огня и наконец задремал сидя. Голова его то и дело клонилась к пламени, он вздрагивал и просыпался, каждый раз испуганно тараща глаза на огонь. Вскоре Санка уснул крепко и, не в силах держаться, повалился на пихтовые ветви, уткнулся лицом в рукав и захрапел.

Раздумье брало Федора. И хотя он уверен был, что Санка правильно нацелил стрелку и зверек не минует засады, но все же казалось ему, что дело тут нечисто, недаром в такой тайне хранит время ухода на промысел Иван, недаром ему, Федору, до сих пор, несмотря на все старания, не попался ни один соболь. Опять же и россказням Савоськи веры не было. «Чего-то он тут хитрит, однако, не такой он чудак, как прикидывается… То говорил “тихо надо”, какой-то обход чертей, сказывал, будет, а потом сам разорался». Подумав так, Федор было осмелел и хотел пошутить над Савоськой, чтобы дать ему понять, что понимает, как он хочет обморочить его. Но вдруг Савоська задрожал, отложил трубку и, обернувши к Федору перекошенное от ужаса лицо, показал на поднявшиеся уши собаки. Токо насторожилась.

– Кто-то ходит! Позя сердится, зачем кричим…

– Свят, свят! – перекрестился Барабанов. – Аминь, аминь, рассыпься! – ограждался он крестным знаменем.

Гольд и мужик прислушались. Гольд вскоре успокоился, поднял трубку и снова закурил, все время искоса поглядывая на Федора.

---

[39] Олочи – невысокая обувь из лосиной шкуры, мехом внутрь.

Стояла такая тишина, что слышно было, как приливает к ушам кровь. В ее прибое можно было вообразить и отдаленное грохотанье телеги, и вой зверей, крики птиц, стук топора, и даже церковный колокол, казалось, звонил то отходную, то к обедне. Федор старался убедить себя, что все это лишь морок, но все же тревога не покидала его.

– Ох, беда, намаешься с этими соболями! – вдруг тяжко вздохнул он и стал развязывать мешок с хлебом и с сухарями. Он достал оттуда ломоть черствого хлеба и протянул его гольду.

– Ну-ка, брат Савоська, ты это дело лучше моего понимаешь, давай, помолись сам за меня. Чего дивишься? Кидай своему Позе, – подмигнул он с таким видом, словно хотел сказать: «Шут его бей, где наша не пропадала, была не была», и добавил: – Пущай нам с тобой поболе соболей гонит.

Глава девятнадцатая

Как ни велика тайга-матушка, но и в ней человек с человеком встречаются. На четвертый день охоты, под вечер, Иван Карпыч набрел на чужой балаган.

«Это, однако, Родион Шишкин промышляет. Ага! Он мне давно нужен». Для начала Бердышов решил подшутить над старым знакомцем.

– Здорово, Родион! – неслышно подкравшись и заглянув в балаган, гаркнул Бердышов.

Залаяла собака.

– Уф, спугал! – Шишкин обронил котелок с похлебкой. От пролитого горячего балаган внутри застлало паром. – Слышишь, Ванька, брось шаманить – сердце оборвется.

– А где тут шаманство? Ты, однако, задумался, вот и не слыхал.

Бердышов залез в шалаш и стал снимать с себя ружье и мешок.

– Ну, я-то задумался, а кобель-то мой тоже, что ль, задумался? – ворчал Шишкин, собирая с пихтовых ветвей куски горячего мяса и складывая их обратно в котелок.

– Чудак, я тебя скридал, подкрался, как к сохатому. Я сегодня лося этак достиг, даже видал, как он глазами моргает. Вот вплотную подходил, как к тебе. Зверь и то не слыхал, а ведь твою-то собаку я знаю, завсегда ее обману. Однако, ты ее голодом держишь, она тебе в рот смотрела, я и подкрался.

– Варево из-за тебя пролил…

– Ничего, – успокаивал его Иван. – Не серчай, сохатина есть, – кивнул он на окорок, подвешенный к суку березы, подле которой налажен был балаган. – Еще наваришь. Надо же маленько и пошутить, а то вовсе в тайге одичаешь, зачумишься с кручины.

Родион долил котелок и поставил на огонь. Это был широкоплечий мужик среднего роста, лет сорока. Грудь у него колесом, лицо обросло темной шелковистой окладистой бородой. Он был жителем ближайшего от Додьги сельца, основанного несколько лет тому назад тамбовскими выселками на устье горной реки Горюна. Родион быстрей всех тамбовцев освоился на новоселье и, сдружившись с гольдами, вскоре стал в своей деревне лучшим охотником.

– Ты как, Родион, по тайге один ходить не боишься? – спросил Бердышов, пуская табачный дым к очагу.

– А кого мне бояться? – отвечал Шишкин, почесывая толстый угреватый нос. – Если мишка встретится, так он меня сам боится.

– Нет, паря, блудне[40] не попадай.

– Я никогда товарищей не беру. Наши, знаешь, какие охотники!.. Пристанут: «Пойдем да пойдем вместе!» А я им: «Не пойду совсем». А сам чуть свет уйду в тайгу. А ты сохатого где оставил?

– Нигде не оставил. Удул он от меня.

– Кхы-кхы-кхы-кхы, – сотрясаясь от сдавленного смеха, расплылся Родион во всю бородатую рожу. Его большие уши задвигались. – Кхлы-кхлы-кхлы-кхлы, – не разжимая крупных желтых зубов, издавал он сдавленные, хриплые звуки.

– Подхожу я к нему, лежит он на боку, глазами моргает. Шерсть-то на хребте прямая, стоит, а я думал, бок. Как выстрелил, а он ка-ак вскочит…

– Кхл-кхл-кхл, – смеялся Родион.

– Я между двух лип сжался. Не знаю, как остался жив. Маленько он меня рогами не саданул. Истинная правда!

На большом огне ужин сварился быстро. Охотники уселись возле котелка, хлебая варево деревянными ложками.

---

[40] Блудня – медведь без берлоги, бродящий по тайге; такой зверь опасен.

– Ну, как твои пермские новоселы, живы-здоровы? – спросил Родион.

– Как всегда. Покуда баба да старик оцинговали.

– Ну, это еще полбеды. Наши-то, вятские, которых за протоку нынче населили, почитай что все цингуют. И что эта цинга на них наваливается, не пойму. Наши старухи им бруснику и клюкву таскают. Им теперь хорошо: есть к кому за помощью обратиться. А каково нам было? Как пришли да оцинговали, а ни помощи, ни совета спросить не у кого. К гольду, бывало, придешь, так он и денег не берет, не понимает их, а дай ему тряпочек. А хлеб пожует, пожует, да – тьфу! – выплюнет его.

– Наши-то лес очищают, пашни станут на релке пахать и на острове. На них глядя, я тоже запашу.

– Без коня-то? – ухмыльнулся Родион.

Иван ничего ему не ответил и только пошевелил лохматыми бровями, словно собирался напугать Родиона, но потом раздумал.

– А зверей-то промышляют они? – спросил Шишкин.

– Помаленьку! Не знаю, скоро ли привыкнут. Они сказывают, что раньше этим занимались у себя на старых местах.

– Конечно, сперва-то трудно. Вон наши вятские! Нашли берлогу в горе. У всех кремневки, да была еще пешня. Они ее накалят – да в берлогу. Пока несут, она остынет. Медведь убежал – ни одна кремневка не выпалила.

– А ты уж обжился на Амуре, не вспоминаешь свою Расею больше?

– А чего мне ее вспоминать? Как мы с отцом помещику да соседям землю обрабатывали да из кабалы никогда не выходили? Да веники помещику ломали, он нам по десять копеек платил. Нищему-то чего вспоминать? Я тут как родился. Тут место лучше, чем там.

После ужина Шишкин стал выпытывать у Ивана, каким способом он неслышно подкрадывается к сохатому на близкое расстояние. Все тамбовские охотники считали Ивана человеком, знающим тайны тайги.

– Это надо уметь, – уклончиво отвечал ему Иван. – Ты попробуй сам, своим умом дойди.

– Откроешь, как скрадываться, я тебя, Иван Карпыч, уважу. Ну, сказывай, как скрадаешь?

– А тебе какое дело? – полушутя ответил Бердышов.

Впрочем, если бы Иван Карпыч и захотел, он, пожалуй, вряд ли смог бы толком рассказать, как он подкрадывается к сохатому. Тут во всем: и в умении определить, где и как лежит зверь, и в умении подобраться к нему тихо и быстро из-под ветра, и в каждом движении была у него выработана звериная же сноровка, которую он мог выразить лишь приблизительно.

– Ну, ты чего рассерчал? Словно третьяк, на меня глядишь! Истинно третьяк и третьяк, лоб позволяет и взгляд тоже.

– Сам-то ты третьяк, шаман, – недовольно ворчал Родион.

– Башка у тебя крепкая, как камень, – шутливо сказал вдруг Иван. – Я когда-то видал, как богатые монголы с тоски башками стукаются. Сидят в юртах – жирные, поперек себя толще, чумные от безделья, нажрутся баранины и давай. Башки здоровые, как треснутся друг об дружку, как орехи колют. – Иван, подсев к Родиону поближе, вдруг изо всей силы стукнул его своим лбом по голове.

Шишкин загоготал, поймал Ивана за руки и, размахнувшись головой снизу вверх, угодил ему затылком в висок.

– Ну, синяк посадил! – еле вырвавшись, ухватился Иван за голову. – Твоей башкой дрова колоть или свайки у гольдов под амбары забивать. Из такой башки и дума не выйдет! Больно, паря! А ты что думал, когда один сидел? – отталкивал он наседавшего Родиона.

– А что? – Родион остановился на коленях. – Одному-то, поди, тоскливо иной раз, – признался он, и ободренный шутками Ивана, снова стал подбираться к нему.

– Ну, не лезь, вали, вали! Убьешь еще. – Иван шлепнул тамбовца ладонью по лбу. – Разъярился, как тигра… Ну, слушай, я тебе про сохатого скажу, – заговорил он, видя, что обида у Родиона прошла. – Это надо знать, как скридать сохатого. Много я и сам не знаю. Скридаю, как могу. – Он набил в трубку табачных листьев из Родионовой коробки и глубоко затянулся. – А как скрадывать, ты спроси у тестя моего Григория, он тебе скажет. Он это понимает лучше меня.

После горячего мясного ужина табачный дым завеселил охотников. Иван вытянул к очагу ноги и, облокотившись, прилег на сохатиную шкуру, служившую Родиону подстилкой. На низком потолке из корья пятнами мерцали отблески пламени. Дым от очага тянуло в отверстие крыши. Балаган был дырявый, но от большого огня и от сытного обеда охотникам стало так тепло, что Родион, подсев к Ивану, скинул куртку и остался в одной легкой рубашке. Собаки, уничтожив остатки пищи, тесней прилегли к охотникам. Родион еще подкинул в огонь смолистых лиственничных поленьев. На минуту показалось, что очаг угасает, но вскоре поленья разгорелись, начали стрелять искрами в потолок и в стороны, пламя вспыхнуло еще ярче.

– К сохатому подходить надо с тыла. Он, когда идет, поворачивается и ложится головой сюда же, откуда шел, и замечает под ветками твои ноги. Это охотник должен знать. Должен сбоку скрадывать его. Он, откуда шел, туда и смотрит. А подходить надо с тыла и сбоку. А когда подкрался, пали – и все… Беда, – неодобрительно покачал он головой, вспоминая свою утреннюю встречу с лосем. – Ка-ак он дунет в чащу, даже тайга загудела.

– Тебе на ночь дрова рубить! – вдруг весело воскликнул Родион, подмигнув Ивану. Он понял, что Бердышов никаких тайн ему не откроет, а лишь зря будет говорить. – Иди и ищи сухую листвянку. – И он потянул Ивана за ногу, обутую в унт.

– Эй, ты, обожди, куда тащишь…

– Кхл-кхл, – скалил зубы Родион.

Он стряхнул Ивана со шкуры на валежник и сам улегся на брюхо боком к огню. Иван, в свою очередь, потянул его за ноги. Мужики разыгрались, как ребята, стали мять друг друга и возиться на шкуре, перепугали собак и чуть не свернули балаган. Иван свалил Родиона чуть не на очаг и подпалил ему бороду, а Родион ловко сдернул у него с левой ноги унт и выбросил из балагана далеко в снег. Ивану с босой ногой пришлось лазить по рыхлым сугробам. Собаки опередили его: Смелый притащил обутку.

– Как медведи в берлоге, расходились. Ну, будет, будет! – возвратившись в балаган, предупредил Бердышов, видя, что у Родиона опять заиграли глаза. – Ты здоровила какой, как амба[41], верткий, хвоста только не хватает, а то бы я тебя за хвост.

Шишкин все же вцепился Ивану в ляжку, но тот вырвался, схватил топор и убежал из балагана рубить дрова.

Дважды принес он по большой охапке и, уложив их у входа, стал готовиться ко сну.

Родион притих и задумчиво смотрел на пламя, почесывая толстый угреватый нос.

– А что, Родион, – спросил его Бердышов серьезно, – ты с соседями дружишь?

– С какими соседями? С русскими али с гольдами?

– С горюнскими. Ты сказал мне, что они тебе друзья. Видишь, наши гольды сказывали мне, что в Мылках был недавно маньчжурец Дыген. Не слыхал ты? А оттуда он будто проехал к вам на Горюн.

– Как же! Это я знаю, – нахмурил Родион брови.

– Гольды божатся, что он их опять грабит.

– Да ну-у?.. Скажи пожалуйста! Ах, язви его в душу! – воскликнул Родион.

– Как бы их отсюда отвадить? Разоряют они гольдов, портят их. Покуда это Дыген где-нибудь поблизости, гольды сами не свои. А начальство наше пропускает. Зимой сидят они у

[41] Слово «амба» имеет два значения: злой дух и тигр.

себя в Софийском, жарят в карты, водку пьют, а лед пройдет, приедут на пароходах и начинают кричать. Нет того, чтобы нойону хвост прищемить. Теперь маньчжурец с товарищами, как я слыхал, пошел нартами на Горюн. Там им раздолье. А с Горюна по озерам пойдет к тунгусам. Поймать бы этого Дыгена! – вздохнул Иван, залезая в меховой мешок. – Я давно на него зуб точу.

Закрыв глаза, уставшие за день от напряжения, он стал рассказывать про свою ночную встречу на Амуре.

– Был я хмелен, мы в Бельго у китайцев водку пили. Я в потемках-то не разглядел, кто едет. Если бы знал верняком, что это был кривой маньчжурец, я бы сгреб его и отвез в Софийск, душу бы из него вытряс.

– Вот ты мне что скажи: почему опять Дыген сюда ездит? Ведь он уж стар, ему бы дома на печке сидеть.

– Дыгену туго приходится. Он в карты играть любит. Продуется в пух и прах, все проест, пропьет и едет на русскую сторону за мехами.

– Старый кот, по горшкам ловко лазает!

Охотники еще немного потолковали, и вскоре в балагане наступила тишина. Изредка лишь слышно было, как рушилась в очаге подгоревшая головешка да измученные собаки вздрагивали и стонали во сне.

Очаг угасал понемногу. Становилось темно.

Шишкин заворочался в своем мешке.

– Ты не спишь, Родион? – поднялся вдруг Иван.

– А что?

– Че-то тебя спросить хочу, выглянь.

– Ну, чего тебе? – приоткрылся взлохмаченный тамбовец.

– У тебя, однако, дружки-то среди гольдов есть?

– А тебе на что?

– Ты знаешь, каких Дыген с озер соболей вывезет: черных-черных, один к одному. Таких нет у нас. Он через озера да через хребты пройдет, везде побывает и на Амгунь сходит. Соболя там якутские. Пойдет он обратно, вот бы когда нам с тобой подкараулить его. Тебе бы ловко можно поймать его, ведь ты от Горюна недалеко живешь.

Тамбовец молчал и чесался яростно, по-видимому о чем-то раздумывая.

– А я тебе подход ко всем зверям открою, подумай-ка! Всех охотников на Амуре превысишь, богачом станешь. Сохатого скрадывать научу.

Иван давно искал случая разбогатеть. От охотничьего промысла или от меновой торговлишки нечего было и думать нажить богатство. Застрелить кого-нибудь из русских или здешних китайских торгашей – не оберешься потом разговоров. Верней всего было, как он полагал, ухлопать Дыгена, который жил в Маньчжурии и сюда ездил тайно. Дыген был маньчжурским дворянином и в старое время совершал поездки в пустынные, неразграниченные земли. Когда-то, как рассказывали гольды, он приехал впервые и привез всем подарки: кому чашку, кому халат, кому безделушки. За подарки он потребовал соболей. С тех пор он часто являлся в сопровождении вооруженных слуг и заставлял туземцев платить ему как бы род дани.

Иван полагал, что убить Дыгена – верное средство разбогатеть. А Китай не может потребовать расследования, если слух об убийстве дойдет туда. Это значило бы признаться, что маньчжурские чиновники разрешают за взятки такие грабительские походы на русскую сторону. Здесь же за убийство Дыгена, который страшно терзает гольдов, все будут благодарны.

Но Бердышов знал: одному ему не перестрелять целый отряд маньчжурских разбойников. Родион – смелый человек, хороший стрелок. «Если не поддастся уговорам, найду что сказать», – подумал Иван.

Бердышов, не ожидая, что ему ответит Родион, оставил его в раздумье, а сам закутался с головой. Вскоре из мешка послышался его густой храп.

Наутро Иван дружески распростился с Родионом и, ни словом не обмолвясь о вчерашнем разговоре, двинулся в обратный путь. День выдался ветреный и морозный. До вечера крутила метелица. Ночь Иван провел, забравшись в дупло старой ели, а наутро снова двинулся в путь. Ветер все крепчал, временами несся снежок. К полудню, когда Иван достиг Косогорного хребта, идти на лыжах стало легче, начались гари. Здесь свежие снега были крепко убиты ветрами.

На Косогорном у Ивана были расставлены сторожки на соболей, и он полез наверх проверять их.

Один из самострелов, к его удивлению, оказался разоренным. Пойманный соболь был украден. На снегу лежала окровавленная стрела, под бугор, в горелый ельник, ушла лыжня.

Бердышов понял по следам, что вор был недавно, и погнался за ним. Он бежал, распахнув меховую куртку и не замечая холода и резкого ветра. Лицо его горело, и лоб под сохатиным мехом истекал потом.

Открытой грудью рассекая морозный вихрь, Иван мчался по уклонам так, что мимо лишь мелькали стволы горелых лиственниц.

Еще больше обозлился он, когда следы свернули по пади к Мылкинскому озеру. Не долго думая, Иван помчался прямо в Мылки.

Глава двадцатая

Стойбище Мылки было расположено на берегу одноименного озера, которое представляет собой обширный залив Амура, простирающийся в глубь тайги. На северном берегу его в переломанных зарослях чернотала, подле глубоких проточек в заветные озерца, кишащие рыбой, приютились жилища гольдов.

Жгучий мороз рвал и метал над широким снежным простором. За тайгой синели округлые купола дальних сопок, и синие же дымки из труб стойбища метал ветер у подножья леса.

Там, где под берегом из сугробов торчали острые носы и дощатые борта плоскодонных лодок, Иван взобрался по крутому яру наверх. Перед ним желтели мазанные глиной приземистые лачуги. Со всех сторон затявкали, лениво сбегаясь, своры тощих собак. Иван крикнул на них, псы отстали. По свежей лыжне он направился к длинной лачуге с окнами, завешанными снаружи вздрагивающими от ветра шкурами кабарги. Шагах в двадцати от фанзы из высоченного сугроба обильно дымилась деревянная труба, сделанная из полого дуплистого дерева. Подле самой лачуги стояли малые амбарчики на свайках. Под ними виднелись нарты, шесты, палки. На пустых вешалах ветер раскачивал тяжелые связки обледеневших берестяных поплавков.

«Давно я тут не был!» – подумал Иван. Сняв лыжи, он с силой толкнул обледеневшую дверь и вошел в фанзу.

Внутри было полно народу. На просторных канах сидели, поджав ноги, старики гольды и обильно дымили трубками. Картина была знакомая. Все присутствующие слушали со вниманием сухого старика с седой плоской бородкой и жесткими, колючими глазами. Не прекращая своей речи, старик враждебно посмотрел на вошедшего Ивана.

Бердышов узнал его. Это был хозяин фанзы Писотька Вельды.

У очага хлопотала его дочь, горбунья с прекрасными черными глазами и уродливо тонкими ногами, которые, казалось, вот-вот не выдержат тяжести тела и подломятся. При виде Ивана на ее полных красных губах заиграла недобрая улыбка.

Рядом с Писотькой Иван заметил лысину Денгуры, бывшего родового старосты. Тут же сидели многие другие гольды, хорошо знакомые Ивану, но все они делали вид, что не замечают его и со вниманием продолжают слушать писклявый голосок хозяина.

– Батьго, – тихо поздоровался Иван, как бы не желая нарушать беседу.

Он скромно присел на край кана и стал дожидаться окончания разговора.

Речь шла о том, что надо высватать невесту сыну хозяина.

«Жених-то, верно, и стянул у меня добычу», – подумал Иван, глядя на бойкого, рослого, широкоплечего хозяйского парня, не похожего на гольда.

Писотька был одним из коренных жителей Мылок. На другой год после оспы, уничтожившей старое богатое стойбище Мылки, он возвратился на родное озеро и первым построил себе большую фанзу. К нему переселился Денгура, а потом и все другие мылкинские, оставшиеся в живых после мора.

Писотька был богат. По стенам на деревянных гвоздях висели белые овчинные шубы, ватные халаты, на нарах высились разноцветные свертки шелков; на двух очагах стояло множество чугунной посуды. Повсюду были расставлены искусно сделанные берестяные короба, ломившиеся от всякого добра.

Иван слыхал от Гао Да-пу, что Писотька дает убежище маньчжурам, тайно приезжающим на Амур, и ведет с ними торговые дела. Гао Да-пу не дружил с Писотькой, чувствуя в нем соперника. Не любил бельговский торговец и маньчжуров. Китайские купцы и раньше всегда подговаривали гольдов не давать им меха.

Но торговцы лишь втайне противодействовали Дыгену. У себя на родине они были целиком во власти маньчжуров, а поэтому при случайных встречах с ними на Амуре вели себя внешне покорно, любезно и гостеприимно, опасаясь, что те на родине всегда могут беспощадно расправиться с ними.

В одном лишь, как слыхал Бердышов, несчастен был гольдский купец Писотька: стоило какой-нибудь из его трех жен родить мальчика, как тот вскоре умирал. Большак же его, которого он собирался женить, не был ему сыном. Смолоду его старшую жену забирали к себе маньчжуры, и после того в срок она родила парнишку. Старик хотел иметь своих сыновей, но, как ни старались шаманы и знахари, дети не выживали. На этот раз младшая жена Писотьки качала в углу лубяную зыбку, закрытую тряпкой, и старательно и громко называла младенца девочкой, что означало, как понимал Иван, что под тряпкой у нее лежит мальчонка.

«Боится, чтобы черт не утащил парня, – подумал Иван, – на девку его переделала. Это уж гольдяцкая хитрость известная…»

Между тем гольды смолкли. Им самим хотелось узнать, зачем явился Бердышов. От любопытства у них разговор про сватовство не ладился. Старики умолкли и стали поглядывать на него.

Иван поднялся. При виде жесткого и злого лица Писотьки в нем вспыхнул гнев. Какая-то сила так и толкала его схватить хозяина за глотку и рассчитаться с ним тут же, при всех. Иван негодующе, но довольно сдержанно спросил по-гольдски хозяина, зачем он украл из его ловушки добычу.

Ропот пробежал по канам.

– Следы вора привели к твоему дому. Ловушка была разорена сегодня, и я пришел по свежему следу.

Густые клубы дыма окутывали изможденные лица гольдов.

Вскочил Денгура, продувной торгаш и говорун. Это был тощий высокий старик с лысой головой и худым скуластым лицом. Он еще сохранил живость ума и красноречие. Все более и более возбуждаясь, он стал доказывать Ивану, что «лоча», поселившиеся на Додьге, сами воры и что во всех неладах виноваты они сами.

– Осенью Улугу стал там рыбачить, а один мужик напал на него, отобрал невод и хотел его побить.

– В плечо меня ударил, – поднявшись, робко подтвердил Улугу, кривоногий гольд с плоским лицом. – Я ловил рыбу, русские у нас отобрали бредень!

– А зачем вы сено растащили? – спросил Иван.

– Ну что, Ваня, разве травы жалко? – с кроткой укоризной спросил Улугу.

Гольды наперебой заговорили, обвиняя новоселов в разных поступках.

– Недавно кто-то из них украл из нашей ловушки соболя! – завизжал хозяин фанзы, пуская в ход последний и самый веский довод. – Вы нашего соболя украли, а мы – вашего. Теперь в расчете.

Присутствующие засмеялись.

– Мы тебя в краже не виним, на другого человека думаем, – заметил Денгура, который был осторожнее других мылкинцев и не хотел зря обижать Ивана.

– Откуда же ты знаешь, что соболя взяли наши? – грубо спросил Бердышов Писотьку, уставившись на него исподлобья, как бык.

– Мы тоже по лыжне вора ходили, – сердито ответил гольд. – К вашей деревне вышли… Не знаю, кто теперь нас рассудит, – горько усмехнулся он.

Только тут Иван догадался, какого соболя добыл Федор.

– Ты неверно говоришь, – решительно отрубил Бердышов. – Наши не брали соболя. А невод отобрали – не знали, что это сосед рыбачит. Меня не было, а они подумали, что это чужой человек ловит без спросу.

– А соболя взяли – тоже, понимаешь, не знали, что сосед ловушку поставил? – усмехнулся хозяин.

– А соболя совсем не брали, – упрямо стоял на своем Иван.

– А кто же взял?

– А кто взял? Может, амба взял, – вдруг сделав страшную рожу, ответил Иван. – Черт стащил соболя! – рявкнул он, вскакивая на кан, и с силой ударил себя кулаком в грудь. – Черт! Амба! Ему, может, охота нас поссорить – он украл соболя, а лыжню наладил до нашей деревни, а вы поверили. Он нас ссорит, а мы, как глупые, не можем помириться.

Гольды опешили.

– А ты про черта откуда знаешь? – значительно слабее и уже не так зло спросил Писотька.

– Покуда не знаю, а вот Анга пошаманит, тогда все знать буду. Когда люди ссорятся и обманывают друг друга, всегда амба какой-нибудь виноват, – торжествующе произнес Иван и, оглядев подавленных, притихших гольдов, спокойно уселся на кан. – Бывает же, что черту охота поссорить между собой людей, – продолжал он. – Камлать надо, а не ссориться. Гонять его всем, дружно!

Бердышов хорошо знал гольдов. Видя, что они поддались, он воспользовался их смятением и стал втолковывать, что никто из русских не мог взять добычи из ловушки.

– Надо было сразу ко мне идти, мы бы с Ангой пошаманили и все бы узнали.

Гольды стали переглядываться между собой многозначительно. Многие из них не верили Ивану: как-то трудно было допустить, что соболя стащил черт. Все продолжали подозревать в краже Барабанова, которого хорошо знали по следам старых лыж Ивана, однако удобный миг для спора с Бердышовым был упущен. Никто более не решался оспаривать его слов, тем более что он так хорошо обвинил во всех людских бедах черта.

Этого-то и надо было Ивану.

– А что же вы поздно хватились? Да если бы я узнал, что кто-нибудь из наших украл соболя, я сам бы его застрелил. Но и ты, Писотька, вели отдать мою добычу, а не отдашь – беда будет. – И Бердышов, не говоря лишнего слова, нахлобучив шапку, поднялся и стал надевать ружье.

Угроза подействовала на мылкинцев. Они повскакивали с канов и принялись уговаривать Ивана еще погостить в Мылках. Дандачуй, сын Писотьки, плечистый толстогубый парень, не на шутку перепугавшись, сбегал в амбар и принес оттуда закоченелого соболя. Писотька, заискивающе улыбаясь, отдал его Ивану.

– Ну, давно бы так, – улыбнулся Иван и, возвратив зверька Писотьке, попросил отдать его работникам, чтобы они сняли шкурку.

Потом Иван разделся, показывая этим, что идет на примирение, прощает вора и хочет погостить у хозяина.

На столиках появилась водка. Бердышова взяли под руки и усадили на почетное место. Гольды тесно окружили его.

– Мы не знали, что это твоя ловушка, – говорили они, – твою бы мы не тронули.

– Ты хороший человек, мы на тебя не сердимся…

– Кушай, Ванча, не будем ссориться, – угощал Писотька.

Иван опять стал объяснять, что невод русские отняли за то, что у них взяли сено, а что накосить его и привезти стоило больших трудов, что скот переселенцев кормится травой.

– А зачем скот? – с любопытством спросил Улугу. Иван рассказал, как и зачем доят коров.

– Мы не знали, – кротко ответили гольды.

– А зачем молоко? – спросил Дандачуй. – Пусть живут без скота, едят рыбу.

Но всем остальным гольдам очень хотелось поехать в Уральское и посмотреть, как это женщины доят зверей и не боятся. Видно было, что гольды уже не сердятся.

– Нам теперь плохо стало, – жаловался Денгура, со свистом потягивая водку из чашечки. – Мы, старики, стали никому не нужны. Эх, в старое-то время в нашей деревне весело было! А теперь нас всякий обидит, – всхлипнул бывший староста и размазал заскорузлыми пальцами слезы, катившиеся по морщинам.

Он хотел было помянуть Ивану о своих охотничьих угодьях под Косогорой, где Иван промышляет без спросу, но смирился. «Тайга большая, всем места хватит», – подумал он и смолчал.

Бердышов стал уговаривать Денгуру мириться с бельговскими и принять у них выкуп за украденную жену.

– Чего тебе сердиться! Теперь пора уж все позабыть. Гапчи и его отец Хогота пир тебе устроят, целую неделю все бы гуляли, – соблазнял он старика. – Я сам с Ангой приеду. Хогота медведя выкормил. Если ты примиришься с ним, для тебя заколют зверя, всю вашу деревню пригласят. Знай гуляй!

Денгура еще упирался, важничал и поминал нанесенные ему обиды, зато другие старики глотали слюнки, представляя себе угощение из мяса молодого медведя. Все начали уговаривать Денгуру мириться.

– Конечно, что же зря ссориться? – поддакивали они Ивану.

Ко всеобщему удовольствию, Денгуру уломали, и Бердышов взялся быть посредником при замирении. Как только окончится зимний промысел, он обещал съездить в Бельго и сговориться о мировой.

– Какой ты хороший человек! – хвалили гольды Бердышова. – Мы тебя, оказывается, совсем не знали.

– Однако, все-таки и на меня сердились? – посмеиваясь, спрашивал Иван. – Знаться со мной не хотели. Помнишь, как мы с тобой в тайге встретились? – обратился Иван к Улугу. – Я тебе кричу: «Иди сюда!» – а ты только отмахнулся рукой да в чащу.

Гольды засмеялись.

– Это было, – согласились они. – Маленько, конечно, сердились.

– Шибко не сердились, а маленько-то было, – подтвердил Денгура.

– Заодно меня с бельговскими считали, я уже догадался, – продолжал Иван. – А ведь я про вас все время вспоминал. «Что, думаю, никого из них нет, не приезжает никто ни ко мне, ни к Анге?» Ну, догадался, что осерчали. Ну, да не беда, теперь как-нибудь станем жить дружно.

Погода разыгралась. Ветер налетал на крышу фанзы с такой силой, словно на нее низвергался водопад. Наступали сумерки, и Бердышов решил остаться ночевать в Мылках, надеясь окончательно упрочить этим дружбу с гольдами, а заодно кое-что выспросить про Дыгена.

Денгура, желая уважить Ивана, стал звать его и всех стариков к себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.